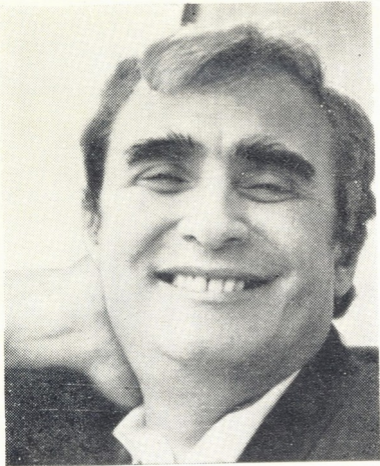


ნოგარ დუმბაგზე







Ногар Думбадзе

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

в трех томах



Перевод с грузинского



Издательство „Мерани“ Тбилиси 1975

Ногар Думбадзе

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ III

•

Белые флаги

Роман

•

Рассказы

•

•

1. 353.1 - 31 + 821.353.1 - 32

Г 2
899.962.1—31
Д 82



R 270.843
2

Д 70303-124 96-75
М604[08]-75

© Издательство «Мерани», 1975



საქართველოს ენციკლოპედიის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

353.2.03-187.1

Белые флаги



РЕСТОРАН «МЕЧТА»

— Здорово, Заза!

— Ростому привет!

Ростом крепко стиснул мою протянутую руку и легонько потрепал меня по щеке.

— Ну, как ты, что ты?

— Да так себе. А ты? — спросил я и взглянул на часы.

— Спешишь?

— Понимаешь, в Кировском парке — «Под небом Сицилии». Сходим, а? Хорошая картина!

— Да брось ты! Целый год не виделись. Пошли, выпьем по стаканчику!

— Нет, давай лучше в кино!

— Ладно уж, в сотый раз небось смотришь эту «Сицилию»! Пошли!

Ростом — здоровяк, сильный, как бык. От его железного рукопожатия я сразу же забыл про всякое кино, чуть не кубарем скатился вниз по лестнице подвального ресторанчика и присел к пустовавшему столику у небольшого бассейна с живой рыбой. Ростом подошел к буфету.

Вряд ли на свете сыщется ресторан более грязный,

темный, неудобный и дорогой, чем «Мечта». И если его все-таки посещают, то только лишь потому, что он всегда открыт, в любой день, с семи утра. Круглый год. Халаты на официантах «Мечты» до того замызганные, что участковый санитарный врач даже не доходит до зала, — буфетчик прямо на лестнице вручает ему дань за антисанитарию... Буфетчика Архипо знает весь Тбилиси, ну и, разумеется, я.

— И не стыдно вам, Архипо? Не ресторан, а черт его знает что! Грязь одна! — упрекнул я как-то буфетчика.

— А это вовсе не ресторан, уважаемый! — отпарировал Архипо. — Это рабочая столовая!

С тех пор я, как потребитель, уже не предъявлял к «Мечте» никаких особых требований.

Сегодня посетителей здесь маловато. В дальнем углу темного зала за столом сидят человек восемь. Они уже пьяны — галдят, перебивая и не слушая друг друга. Судя по частым выкрикам: «Э-э... Ваше имя, уважаемый?» — компания собралась разношерстная. Видно, они выпивали порознь, за отдельными столиками, а потом объединились.

Ростом вернулся, поставил на стол тарелку с десятком хинкали*, поллитровку и два стакана.

— Запах что-то не того... — недовольно поморщился он и густо посыпал хинкали черным перцем. — Кстати, в случае чего, сколько у тебя найдется? Я весь вышел...

— Три рубля! — смущенно улыбнулся я, извлек из

* Хинкали — грузинское национальное блюдо вроде пельменей. (Здесь и дальше примечания переводчика.)

кармана помятую трешку и подложил ее под тарелку с хинкали.

Ростом разлил водку.

— Хочешь, скажу, как можно бесплатно выпить сто граммов? — спросил он. — Меня вчера научили.

Я знал, в чем заключается этот «секрет», но все же подначил:

— Давай!

— Значит, так: подходишь к прилавку, требуешь сто граммов водки, а потом хинкали... То есть не требуешь, а спрашиваешь — сколько стоит сто граммов. Потом достаешь деньги... Нет, забыл! В общем что-то очень потешное. Дай вспомнить — расскажу... А пока выпьем за нашу встречу!

Мы чокнулись. Ростом залпом осушил стакан и, не переводя дыхания, закусил хинкали.

— Ну, разве это не лучше какой-то там «Сицилии»?!

Я тоже выпил и, почувствовав вдруг, как по всему телу разлилось приятное тепло, подумал: «Пожалуй, лучше».

— А хочешь, я сам научу тебя? — спросил я.

— Чему? — не понял он.

— Как бесплатно выпить сто граммов.

— Ясно, хочу!

— Значит, так: подходишь к прилавку и спрашиваешь буфетчика: «Что стоит пяток хинкали?»

— Пятьдесят копеек, — отвечает он.

— Давай! — говоришь ты. И снова спрашиваешь:—

А сто граммов водки?

— Пятьдесят копеек!

— Так-с. Я передумал. Забирай обратно хинкали и взамен налей мне сто граммов.

Буфетчик убирает тарелку с хинкали и наливает водку. «Хлюп!» — опрокидываешь ты водку и направляешься к выходу.

— Э-э, куда? — орет вслед буфетчик.

— Домой! — отвечаешь ты.

— А деньги?

— За что?

— За водку!

— Так я же вернул тебе пять хинкали?

— А деньги за хинкали?!

— А разве я ел хинкали?

— Н... нет...

— Так чего ж тебе от меня нужно?

— Н... ничего, уважаемый... — мямлит смущенный буфетчик и оставляет тебя в покое.

— Ва, гениально! — воскликнул Ростом. — Кто тебя научил?

— Цицка.

— Вот тип! И меня тоже он научил, но тебя — лучше!

— Да, такое за ним водится, — успокоил я Ростом.

Я и Ростом до третьего класса учились вместе, в одной школе. Потом семья Ростомы перебралась в другой район, и мы расстались. Лет девять я не встречался с Ростомом. Увиделись мы на приемных экзаменах в университете — он сдавал на физический. Я бы не узнал его, так он возмужал и похорошел. Ростом сам окликнул меня.

— Как ты узнал меня? — спросил я.

— А что тут такого! — рассмеялся он. — Ты ничуть не изменился.

На втором курсе Ростом снова куда-то исчез.

Спустя год я встретил его на стадионе. Играли наше «Динамо» и московское «Торпедо». Я немного опоздал, и место мое оказалось занятым... Ростомом. Кое-как устроились. После матча (наши проиграли) мы возвращались вместе. Я не знал, о чем говорить, — все темы разговора ограничились тремя классами средней школы.

— Где ты запропал? — спросил я из вежливости.

— Трудновато нам пришлось... Начал работать и перешел на заочное, — ответил он.

Вот и теперь я не знаю, о чем с ним говорить. И я повторяю свой прошлогодний вопрос.

— Послушай, но куда ты все-таки исчез?

— Говорил же я тебе: работаю.

— Где?

— Какая разница? На хлеб хватает...

— Что-то не похоже, — улыбнулся я и покосился на свою лежащую под тарелкой трешку.

— Все несую домой... Мама совсем состарилась, почти ослепла, шить ей трудно...

— А стоило все-таки переходить на заочное? — спросил я и понял, что сморозил глупость.

— Стоило... — ответил Ростом после минутного молчания. — Стоило... Прихожу как-то домой... Вижу, мать сидит на кровати, опустив голову, а какая-то толстозадая баба вертит в руках перед ее носом пеструю тряпку и визжит: «Если ты совсем ослепла и не можешь шить, то так и скажи! Я б лучше просто подарила тебе деньги!.. Что мне теперь делать?! Где я достану такой отрез, а? Лопни, тресни, а найди, где хочешь! Понятно тебе?!» Это она говорила моей матери...

Ростом выпил. Мне стало не по себе.

— Ну и потом? — спросил я.

— Помнишь нашу школу?! Мы ходили туда через Варазисхеви*, — ушел Ростом от ответа.

— Помню! — вздохнул я с облегчением.

— Мне мама по утрам давала пятнадцать копеек. А тебе?

— Тридцать.

— А напротив школы был завод кувшинов и горшков...

— Кирпичный завод, — поправил я.

— Да, кирпичный. Но там делали и горшки тоже... И ребят с той улицы называли «кирпичной шайкой», помнишь?

— Они подкарауливали нас и отбирали деньги, помнишь?

— Как не помнить! За пятнадцать копеек тогда давали французскую булку с двумя сосисками. И сверху горчица.

— Вот сволочи! — Мне вдруг стало жаль тех детских тридцати копеек.

— А знаешь, почему они грабили нас с утра?

— Почему?

— А потому, что, успевай мы войти в школу, и деньги были бы истрачены в буфете!

— Смотри-ка, я и не смекнул! — Меня рассмешила наивная хитрость «кирпичной шайки».

— Да и я сам смекнул только теперь. Наш председатель профкома поступает точно так же: в день полочки караулит нас у кассы...

* Варазисхеви — название улицы в Тбилиси.

— А все же, где ты работаешь?

— В гараже, мойщиком машин, — неловко улыбнулся Ростом. — А еще одна трешка была бы сейчас кстати... — Он выразительно взглянул на почти опустевшую бутылку, потом на мою трешку.

Вдруг возле нашего стола откуда ни возьмись вырос какой-то вдрызг пьяный усатый верзила. В правой руке он держал стул, в левой — бутылку «Саперави»*.

— За процветание и счастье... наш...ш...шего края! Да здравствует!.. Ура! — провозгласил он заплетающимся языком.

— Ура! — подхватили мы его призыв.

— В... ваше имя, уважаемый? — обратился усатый ко мне.

— Заза.

— Ого! А в...ваше? — повернулся он к Ростому.

— Ростом**.

— О-хо-хо! Б...богатыри! «Амиран***» сразился с дэвом, задро...ж...жала вся земля!» Так, кажется?! П...пью за красоту нашей земли и ц...целую ваш стол! — Усач покачнулся.

— Садитесь, пожалуйста! — подхватил я его.

— Я со своим с...стулом и вином... Ик!.. Принимаете? — спросил он и, не дожидаясь ответа, проглотил наш последний хинкали.

— Пожалуйста!

— Мы там... кутим... Я и м...мои друзья... один, два, т...три. Я четвертый! — Усач с силой стукнул себя кулаком в грудь.

* «Саперави» — сорт вина.

** , *** Ростом и Амиран — имена героев древнегрузинского богатырского эпоса «Ростомiani» и «Амираниани».



— Чего же вы хотите, уважаемый? — спросил Ростом.

— Я х...хочу... ик! Я ж...желаю «Быть с тоб-о-о-ою всегда, быть с тоб-о-о-ою в моги-и-и-ле...» — неожиданно затянул усач.

— Нам пора, уважаемый, — привстал я.

— Ч...что такое?! — Усач грохнул бутылкой об стол, и вино плеснуло в лицо Ростому.

Побледнев, Ростом медленно привстал, уставился на некоторое время в глаза усачу; потом, не сказав ни слова, утер рукою лицо и выразительно покосился на свою окрашенную в красный цвет ладонь.

— Ваше имя, уважаемый? — очень тихо спросил Ростом усача.

— Акакий, Како, Каки!* — отрапортовал тот и сел. — С...садитесь... — предложил он и нам.

Мы тоже сели.

— Скажите, глубокоуважаемый А-ка-кий, Ка-ко, Ка-ки, — произнес Ростом по слогам, — чего вам от нас нужно?

Я прыснул. Рассмеялся и Ростом.

— Г...грабят, обирают меня, — прошептал вдруг усач и огляделся с видом заговорщика.

— Кто? — спросил я тоже шепотом.

— Они! — Он кивнул головой куда-то в сторону. — Г...грабят, понимаете, г...грабят, сосут мою к...кровь...

— Да скажите же, в чем дело? — спросил Ростом и налил себе вина из бутылки усача.

— Кровь мою пьют! — выкрикнул тот во всю глотку, словно вдруг протрезвев. — Обирают меня!

* Како, Каки — уменьшительные от имени Акакий.

Ростом поставил свой стакан.

— Кто же, кто? — спросил я.

— Они! Не дают слова вымолвить! Хлеб-соль мой, вино мое, расходы мои, и мне же затыкают рот! «Соединимся!», «Объединим столы!». Сволочи! Трепачи!.. Там я был тамадой, а здесь — этот скопец, это ничтожество! И еще лишает меня слова! Меня! За моим же столом! У-у, морда! Взгляните, взгляните на этого выродка! Потомок Георгия Саакадзе, Тамары Георгиевны и Давида!..* Ух, мать твою!..

Компания за обеденным столом была уже в той стадии опьянения, когда нестройное пение и нечленораздельные выкрики, слившись в дикий рев, лишают людей последних проблесков разума.

— Это вы про своих друзей? — спросил я нашего гостя.

— Кто им друг?! Я?! Да я их...

— Ладно, ладно, успокойтесь!

— Молчать, болван!.. Батальон, сми-ир-но-о-о! Равнение на середину! Прямой наводкой — ого-о-онь!..

Мы не успели опомниться, как рука усача быстро описала в воздухе дугу, и бутылка, пролетев через весь зал, бомбой взорвалась, стукнувшись об угол дальнего стола. Звякнули осколки. Вслед за первой усач швырнул и вторую — нашу — бутылку.

— Ау-у-у-о-о! — грянуло оглушающим воплем, и оз-

* Георгий Саакадзе — выдающийся грузинский полководец и государственный деятель конца XVI — начала XVII вв. Тамара Георгиевна — царица Тамара (1184—1213 гг.). Давид — царь Давид Строитель (1089—1125 гг.).

верелая, потерявшая человеческий облик толпа, вооруженная стульями, двинулась на нас.

Я помню:

Ростом богатырским ударом в челюсть свалил уса-ча. Через секунду и сам Ростом оказался на полу, с ним рядом. Тут на мою голову обрушился стул, и все вокруг пошло ходить ходуном. Закружились, запрыгали стулья и столы, под потолком вместо одной засияли сотни электрических лампочек. Потом откуда-то издалека долетела нежная трель милицейского свистка, и... мир поглотила кромешная тьма.

В этой тьме кто-то, подойдя, положил мне на плечо руку:

— Подымайся!

— Что вы сказали? — переспросил я.

— Подымайся и следуй за мной!

— Не могу... Не могу подняться, уважаемый!

Он обнял меня за плечи, приподнял и поставил на ноги.

— Следуй за мной!

Мы шагали долго: он впереди, я — за ним. У меня подкашивались ноги. Кругом была тьма-тьмуца, и лишь осиянная светом голова моего ведущего освещала мне путь. Наконец он остановился у черного дома с решетчатым окном и повелел:

— Войди в сей ковчег!

— Страшно мне! — сказал я, отступая назад.

— Войди в ковчег, человече! Се грядет день божьего гнева. И хлынут на землю грешную воды великие,

и за сорок дней и сорок ночей сметут те воды с лица земли все живое, созданное волею господа нашего. Войди!

— В чем дело, уважаемый, в чем таком мы провинились? Объясните!

— Рек господь наш: исполнился мир сей скверны и непотребства, и ниспошлю я кары небесные на мир сей и на людей.

— Так и сказал?

— Так сказал господь, бог мой.

— Допустим. Но вы-то кто?

— Я? Я — Ной.

— Какой Ной?

— Тот самый!

— А-а-а! — Тут только я понял, с кем веду беседу: это был Ной, прародитель послепотопного человечества. Однако для своих лет он выглядел весьма бодро и весело.

— Где же ваши сыновья, почтеннейший Ной? Где Сим, Хам и Яфет?

— Ты есть сын мой, Заза!

— А звери где?

— Мы сами звери!

— А птицы?

— Мы же и птицы, и пресмыкающиеся... Не медли же, сын мой, входи в ковчег!

Разверзлась окованная железом дверь черного дома и...

...Я вошел в ковчег...



«ДЕСЯТАЯ ПЯТОГО»

Спустя три дня после описанных событий в вечерней городской газете «Тбилиси» появилось траурное объявление:

«Сестра Гуранда, зять Амаяк Алавердян, двоюродные сестры и братья Цуца, Маро, Лили, Мака, Гванца, Цабу, Ира, Цотне, Ия Заридзе, Губаз и Валерьян Иорамашвили извещают о смерти

**Владимира (Джано) Феофановича
Соселия**

Гр. панихида 11, 12, 13 мая, в 8 ч. вечера. Вынос тела 14 мая из квартиры, ул. Кутузова, 251».

А спустя еще десять дней в той же газете, под рубрикой «На страже законности», было опубликовано следующее сообщение:

«А как они думали!»

Давно не встречались старые «друзья» Ростом Амилахвари и Заза Накашидзе. И вот 8 мая с. г. встреча состоялась в окрестностях ресторана «Мечта». Профессиональные бездельники облобызались и тут же решили побаловаться водочкой (на какие, каким путем добытые деньги — это другой вопрос).

В ресторане, рядом с «друзьями», мирно ужинала компания честных граждан. Оказавшись вскоре во власти Бахуса, Накашидзе и Амилахвари предались обычному для них занятию — стали упражняться в отборнейшем сквернословии на русском языке и вызывающе поглядывать на ужинавшую компанию. Возмутительное нарушение общественного порядка со стороны двух распоясавшихся мерзавцев продолжалось долго, несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы буфетчика. Тогда один из вышеуказанных сотрапезников — г. А. Х. подошел к дебоширам и стал по-отечески увещевать их:

— Молодые люди, ведь вам известно, что алкоголь пагубно влияет на здоровье, умственные способности и моральный облик человека. Я прошу вас — удовлетворитесь принятым вами количеством спиртного, идите домой и займитесь лучше книгами. Вы ведь, должно быть, студенты высшего учебного заведения. А я здесь за вас расплачусь.

Но не так-то просто оказалось образумить зарвавшихся хулиганов. Они сперва жестоко избили гр-на А. Х., доведя его до коматозного состояния, а затем стали бомбардировать бутылками стол вышеуказанной компании. Жертвой их варварской разнузданности стал гр. Соселия, который, будучи доставлен в больницу скорой помощью, скончался.

Амилахвари и Накашидзе, разумеется, попытались скрыться, но были схвачены на месте преступления подоспевшей группой работников милиции в составе зам. начальника следственного отдела лейтенанта Н. Легашвили, рядовых Б. Татаршвили, В. Русидзе, С. Бердзенишвили, Б. Сысова, В. Квернадзе и Д. Арабули.

Р. Амилахвари и З. Накашидзе в ближайшее время предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. А как они думали!!

Вызывает, однако, удивление тот факт, что отъявленные хулиганы З. Накашидзе и Р. Амилахвари, как теперь выяснилось, до этого ни разу не привлекались к уголовной ответственности. Это должно послужить для органов милиции серьезным напоминанием о необходимости улучшить работу по предупреждению и профилактике преступности».

Над обрывистой Метехской скалой, там, где ныне восседающий на каменном коне Горгасали* поднятой десницей предупреждает водителей быть поосторожнее на повороте и откуда в былые времена отчаявшиеся тбилисцы совершали свой последний путь в жизни — с камнем на шее в мутные воды Мтквари**, раньше

* Вахтанг Горгасали — царь Грузии Вахтанг I, основатель Тбилиси (убит в бою с иранцами в 502 г.).

** Мтквари — грузинское название реки Куры.

стоял Метехский замок (слово «замок» здесь следует понимать в смысле «тюрьма»).

Позднее, в годы революционного подъема и наступившего затем разгула реакции, людей, пожелавших обрести свободу, оказалось так много, что Метехский замок перестал их вмещать. Видя такое положение, известный в то время промышленник Манташев порешил отдать под тюрьму два четырехэтажных здания в Ортачала*, предназначавшихся ранее под его текстильную фабрику, и преподнес их в день рождения Его Величеству Николаю Второму Романову, Императору и Самодержцу Всероссийскому, Царю Польскому, Великому Князю Финляндскому и прочая, и прочая, и прочая. Ортачальская тюрьма получила название «губернской».

А в феврале 1921-го «губернская» была конфискована большевиками и без изменения функций и названия передана трудящимся на вечное пользование.

...Главная достопримечательность тюрьмы — огромная алфавитная книга. Каждый, желающий узнать местонахождение своего заключенного, должен войти в административное здание тюрьмы, постучаться в окошко с надписью «Канцелярия» и, если оно откроется, назвать фамилию искомого. Спустя одну-две минуты окошко выдает ответ.

В этой книге я, как вы сами понимаете, записан под буквой «Н». И про меня здесь сказано следующее:

«Взят под арест 8 мая. В тюрьму доставлен 11 мая. Корпус V, камера X. По предварительному следствию определена ст. 110 УК ГССР».

* Ортачала — район Тбилиси.

А что сказано в этой ст. 110, об этом станет известно чуть позже.

Первое, что можно увидеть из окна моей камеры, — это сторожевую вышку и беззаботно сидящего на перилах ее площадки часового. Затем вы увидите административное здание и окно кабинета начальника тюрьмы. На подоконнике, с наружной стороны, выстроились в ряд цветочные горшки (так в некоторых домах любят выстраивать на крышке рояля фарфоровых слоников). Но в горшках цветов нет. Видимо, эти горшки с цветами когда-то украшали кабинет одного из бывших начальников тюрьмы — любителя комнатной флоры. Занявший его место новый начальник цветов не любил, но выбросить горшки, видно, счел неудобным и, под благовидным предлогом создания нежным растениям лучших условий, велел выставить горшки на воздух. Следующий начальник о цветах вообще и не думал. И стоят теперь на подоконнике никому не нужные горшки с засохшей землей и грустно внимают бодрому крику крестьянина, что с мешком на спине шагает по сбегающей от села Крцаниси тропинке:

— Земла, земла-а!.. Цветочни земла-а-а!.. Чернозем земла-а-а!..

Рядом с кабинетом начальника — кабинет тюремного надзирателя. Между этими тремя достопримечательностями — сторожевой вышкой, кабинетом начальника и кабинетом надзирателя — существует своеобразная магическая связь. Допустим, беззаботный часовой на вышке заметил, что вы смотрите в окно. Не спеша, не глядя на вас, он снимает телефонную трубку. И если



вы переведете взгляд на кабинет начальника, то увидите, что тотчас же трубку поднимет начальник. Он с довольным видом кивает головой и, не опуская первой трубки, снимает вторую. А теперь посмотрите в окно кабинета надзирателя: надзиратель берет трубку, потом другую, и тут... в коридоре за дверью вашей камеры раздается протяжный телефонный звонок. Потом дверь камеры открывается, и, если вы сами не успели соскочить с окна, вам энергично помогут это сделать другие. Следующие за этой несложной операцией три дня вы проводите в карцере.

Существует другой — более быстрый — путь попадания в карцер. Это когда беззаботный часовой звонит непосредственно надзирателю вашего коридора. Но так поступают лишь неопытные, наивные часовые-новички. Они еще не усвоили элементарной истины: трудно сделать карьеру столь прямым путем.

Предположим, однако, что часовой не заметил вас. Что же вы еще увидите из вашего окна?

Вы увидите большой квадратный двор тюрьмы. В этом дворе есть другой — разбитый на четыре сектора, окруженный стеной со сторожевыми вышками — двор для прогулок. Для чего он разбит на четыре сектора? Для того, чтоб можно было вывести на прогулку заключенных сразу из четырех разных камер. Прогулки устраиваются в каждый погожий день, а продолжительность их зависит от количества обитателей тюрьмы. Обычно они длятся от тридцати минут до одного часа.

Затем вы увидите кухню. Рядом с кухней — больница. Чуть правее — морг.

И, наконец, — огромные металлические ворота. Че-

рез ворота людей вводят группами, а выпускают по одному. Есть три способа выйти из этих ворот: первый — когда вы невиновны, второй — когда вы уже осуждены, и третий — когда вы, словно Цикара*, захотите вышибить ворота, но... это именно те девятые ворота, об которые Цикара обломал рога...

Все описанное — это, так сказать, внутреннее хозяйство тюрьмы. Оно, должно быть, куда сложнее, но из нашего окна больше ничего не видно.

Что касается внешнего мира — он для нас ограничен стометровой полосой противоположной улицы: пивной киоск, аптека, парикмахерская и шапочная мастерская. Вот и все, что можно обозреть с нашего наблюдательного пункта — из окна. И пункт этот безраздельно принадлежит Шошиа.

Шошиа** — так зовут одного из обитателей нашей камеры. Сперва я думал, что это прозвище, потому что, во-первых, смуглый Шошиа со своим клювообразным носом действительно очень похож на скворца, во-вторых, — он, словно скворец, целыми днями сидит под окном (и поэтому почти все остальные дни проводит в карцере). Вы думаете, Шошиа боится карцера? Ничуть! Однажды он сказал мне:

— Ты, дорогой мой Заза, не поймешь, какая это радость — по выходе из карцера выглянуть в окно! Это может понять только Шошиа, который сидит в клетке и которого в гнезде ждут два желторотых слабеньких птенца...

Фотоснимки этих птенцов Шошиа раз десять на день

* Цикара — персонаж грузинской народной сказки — бык.

** Шошиа — по-грузински скворец.

достает из кармана и каждый раз при этом плачет горькими слезами:

— Чтоб ему сдохнуть, вашему идиоту отцу, детки мои! Черт меня дернул заниматься этим ежевичным соком?! Сидел бы на своем месте завхоза техникума! Разве мало было там денег?! Это все ваша мать, обезьяна паршивая!.. Ненасытная тварь!.. Поделом мне, болвану несчастному!

— И не стыдно тебе, Шошиа, так поносить собственную жену? — возмущаюсь я.

— Ух! Ты не знаешь ее, дорогой мой Заза! Это — чудовище, это алчный, ненасытный зверь!.. Пусть теперь продает свои бриллиантовые кольца, посмотрю, на сколько их хватит!.. Мне ведь влепят лет десять, это — точно!.. Все равно! Выйду, прогоню ее и женюсь на моей соседке Сиран! Вот помяни мое слово!.. — Шошиа вдруг умолкает и потом произносит доверительно: — Знаешь, какую она готовит толму?*

В камере, кроме меня и Шошиа, еще восемь человек. Вечер. Я слышу звяканье ключей за дверью. Это, наверное, надзиратель: время вечерней проверки.

Так и есть. Дверь камеры медленно открывается, и входит молодой незнакомый надзиратель — мы его видим впервые. Все встают.

Надзиратель начинает пересчитывать нас. «Раз», «два», «три», — чеканит он, тыча в каждого указательным пальцем.

Чтоб не сбивать надзирателя со счета, тот, кого он уже отсчитал, должен сесть, — таков порядок.

— Кто староста? — спрашивает надзиратель.

* Толма — мясное блюдо вроде голубцов.

— Я! — отвечает с явным мегрельским* акцентом один из нас и встает.

— Фамилия!

— Гоголь!

Надзиратель бросает на старосту косой взгляд.

— Имя!

— Чичико!

— Фамилия! — снова спрашивает надзиратель.

— Я ведь сказал, начальник: Гоголь!

Глаза надзирателя наливаются кровью.

— Сгною в карцере! — ревет он.

— Новичок... — замечает кто-то.

— А вот и выкуси, уважаемый начальник! Фамилия моя на самом деле Гоголь!** — спокойно отвечает Чичико и садится.

Надзиратель раскрывает папку с бумагами, уставляется в список, потом с недоумением взглядывает на Чичико и, помолчав некоторое время, приступает к перекличке...

— Девдариани!

— Здесь!

— Накашидзе!

— Я!

— Гулоян!

— И я здесь!

— Гоголь!

Чичико не отвечает.

— Гоголь! — повышает голос надзиратель.

— Я не Гоголь! — вскакивает Чичико. — Я — Тол-

* Мегрелы — жители Мегрелии — одного из уголков Западной Грузии.

** Фамилия Гоголь действительно встречается у мегрелов.

стой, Илья Чавчавадзе, Дуту Мегрели*, Грибоедов! Понятно? Не Гоголь я! Вычеркните меня из этого проклятого списка и отпустите домой! Ясно?!

Поднимается хохот. Надзиратель-новичок, смешавшись, растерянно улыбается.

— Ты откуда? — спрашивает он Чичико.

— Из Нахаребао**, провалиться ему в тартарары! Двести лет назад дед моего деда поселился там, да и омегрелился. Ему что? Лежит себе в могиле. А мне из-за его фамилии покоя нет! Хотя бы словечко знал я по-русски или по-украински!.. Вот наказание!..

Мы кое-как успокоили Чичико.

Надзиратель продолжал:

— Чейшвили!

— Я, уважаемый!

— Мошиашвили!

— Здесь я, здесь, дорогой!

— Мебуришвили!

— Здесь!

— Гамцемлидзе!

— К вашим услугам!

— Саларидзе!

— Есть!

— Моголадзе!

— Его еще не арестовали! — замечает кто-то.

— Соголадзе, — поправился надзиратель.

— Ищут!

— Чоголадзе! — выкрикивает надзиратель.

* Илья Чавчавадзе — классик грузинской литературы, Дуту Мегрели — псевдоним писателя Д. Хоштариа.

** Нахаребао — название села.

— Он — в соседней камере, — показывает большим пальцем себе за спину Гуляян.

— Почему же его фамилия в этом списке? — спрашивает надзиратель.

— А я почему знаю? — удивляется Тигран.

— Уважаемый, быть может, вы ищете Гоголадзе? — спрашивает с изысканной вежливостью Шошиа.

Надзиратель молча смотрит на него, потом заглядывает в список и утвердительно кивает головой:

— Да, Гоголадзе!

— В таком случае это — я! — встает Шошиа.

Надзиратель захлопывает папку и обращается к старосте:

— Гоголь! Есть претензии у десятой пятого? («Десятая пятого» означает: десятая камера пятого этажа.)

— Изложить письменно или доложить на словах? — спрашивает Чичико.

— Говорите! — хмурится надзиратель, вновь раскрывая папку.

Гоголь подмигивает нам.

— Я думаю, начнет Гамцемлидзе! — говорит он с улыбкой.

Гамцемлидзе поправил очки и начал:

— Вам, должно быть, известно, что мы — не обыкновенные арестанты...

— А какие же? — удивился надзиратель.

— Не перебивайте, уважаемый! — Гамцемлидзе предупредительно поднял руку. — Мы ведь не мешали вам при чтении списка!

Сбитый с толку надзиратель раскрыл было рот, но промолчал. А Гамцемлидзе продолжал:

— Наши дела на данном этапе находятся, так ска-

зять, в стадии следствия, и этим положением должна определяться амплитуда обращения с нами, как с гражданами, находящимися в неофициальном, так сказать, в предварительном, временном заключении. Это обращение должно в разумных пределах колебаться между, так сказать, строгостью и милосердием таким образом, чтобы условия нашего пребывания в тюрьме на время, предусмотренное структурой и технологией следствия, были для нас, так сказать, приемлемы, ибо физические возможности человеческого организма и его моральные...

— Гоголь, — обратился надзиратель к старосте, и нижняя челюсть его задрожала, — чего он хочет?

— Похоже, что путевку на двадцать четыре дня в Лебарде!*

— Бесплатную? — спросил надзиратель.

— Бесплатную! — улыбнулся Чичико.

— Скажи ему, пусть сядет, пока я не сошел с ума!

— Я сяду, уважаемый, когда мне объяснят, почему, несмотря на мои настоятельные просьбы, я до сих пор не получил седьмой том Чернышевского! — заявил Гамцемлидзе.

— И этот человек должен сидеть в тюрьме?! — воскликнул Тигран Гулоян.

— Садитесь, Чернышевский! — распорядился Гоголь. — Теперь твоя очередь, Чейшвили!

Чейшвили встал.

— Начать с моих личных претензий, а потом доложить о претензиях всей камеры, или прикажете говорить попеременно обо всем? — спросил он надзирателя.

* Лебарде — курорт в Западной Грузии.

Тот пожал плечами.

— Валяй все сразу! — подзадорил я Чейшвили.

— Значит, так:

Первое. Нас едят клопы!

Второе. Вместо чая нас поят водой!

Третье. Вместо пищи нас кормят силосом!

Четвертое. Одним лезвием бреют десять человек.

Пятое. Нам не дают периодической печати!

Шестое. Мы лишены политической литературы!

Седьмое. Лично мне не хватает хлеба!

— Его не водят на экскурсии!

— Зарплата у него низкая!

— Обувь жмет!

— И жена его — проститутка!

— Поведение моей жены никого не касается! — ограничился Чейшвили общим заявлением, не смея вступать в спор с Девдариани.

— Тигран, спроси-ка его, почему он не платит алиментов? — обратился Девдариани к Гулояну.

— Слышишь, почему ты не платишь жене алименты? — спросил Тигран...

— Потому что, во-первых, рождение моих детей не совпадает с... э-э... с моими подсчетами, а, во-вторых, они не похожи на меня.

— Тигран, — продолжал Девдариани, — скажи этому болвану, что если ему суждено выйти отсюда, пусть трижды на коленях обойдет Светицховели* и поблагодарит бога за то, что дети его не похожи на своего отца!

* Светицховели — храм в Мцхета, выдающийся памятник древнегрузинской архитектуры.

— Слышишь? Трижды на коленях обойдешь Сиони!*
 — Не Сиони, а Светицховели!

— Не все ли равно, Лимон-джан?

— Как все равно, когда Светицховели — во Мцхета, а Сиони — в Тбилиси?!

— Ну и что?

— Как ну и что? Билет до Мцхета денег стоит, а он даже собственным детям не платит алиментов!

В камере поднялся хохот.

Надзиратель, поняв, что его разыгрывают, закрыл папку и выскочил из камеры, сильно хлопнув дверь. Мы продолжали смеяться. Вдруг приоткрылась форточка и показалось раскрасневшееся лицо надзирателя.

— Завтра останетесь без прогулки!

— Подумаешь, тоже мне прогулка по Головинскому!** Проваливай отсюда, мать твою!.. — крикнул Гуляян.

Форточка захлопнулась.

СЕМЕРО НЕПОРОЧНЫХ И ТРИ ПАДШИХ АНГЕЛА

Был в детстве со мной случай, так сильно потрясший меня, что до сих пор при одном воспоминании о нем я обливаюсь холодным потом.

Не помню точно, сколько мне было тогда лет. Мать повела меня в зоопарк. Сперва я катался в коляске,

* Сиони — храм в Тбилиси.

** Головинский проспект — старое название проспекта им. Рушавели в Тбилиси.

запряженной пони, потом мы направились к обезьянам.

— Смотри, как она похожа на тебя! — сказала с улыбкой мать, показывая на маленькую смешную макаку. Я был очень этим доволен и на радостях отдал мартышке все свои конфеты.

Потом мы пошли к медведям. Здесь было очень много детей, и мне ничего не было видно. Тогда мать взяла меня на руки.

Я глянул на медведей, и мне думалось, что они больше похожи на людей, чем обезьяны, — они стояли на двух ногах, не имели хвостов и пили лимонад из бутылки точно так, как беспалый нищий перед нашим домом.

Потом я долго соревновался с цаплей, стоявшей на одной ноге, и, конечно, победила цапля.

А потом я увидел тура. Он застыл, словно каменное изваяние, на краю искусственной скалы, и трудно было поверить, что это живое существо.

— Э-ге-ге-е!.. — крикнул я и запустил в тура камень.

Камень упал в двух шагах от него и покатился по скале. Тур не шелохнулся, как говорится, не моргнув глазом... Задумчивый его взор был устремлен к синевшим вдали Кавказским горам.

— Мама, почему он не двигается?

— Думает, сынок... Пойдем поскорей, через десять минут закроют!

Не поняв, о чем говорила мать, я вприпрыжку последовал за ней. Мы подошли к одноэтажному зданию. Мать приоткрыла дверь с тугой пружиной и пропустила меня вперед. Мы оказались в огромном помещении, уставленном металлическими клетками. В нос ударило

тлетворным запахом падали. Это был страшный, неведомый для меня мир: огромные гривастые львы лениво поводили глазами; медленно, тяжело вышагивали вдоль клеток полосатые тигры; беспокойно бегали и кидались к решеткам леопарды и пантеры...

Кроме нас, в зале не было никого. В дальнем углу помещения женщина в грязном синем халате подметала клетку льва и громко выговаривала ему за грязь и плохое поведение.

Меня стал пробирать страх. Этот огромный зал напоминал темницу, куда бросили побежденных в кровопролитном бою и захваченных в плен полководцев и придворных какого-то неведомого грозного повелителя. И вот теперь пленники сидели в железных клетках. Некоторые из них, еще не привыкнув к неволе, с остервенением пытались разбить ненавистные решетки; другие, затаившись, строили планы побега; иные же, свикнувшись со своей печальной участью, покорно ожидали приговора судьбы.

Внезапно наступила тишина. Навострив уши, звери, словно по команде, уставились в одну точку. Распахнулись тяжелые двери, и в зал вкатились две тачки, груженные мясом.

— Уа-а-а! — завывали звери.

— Зр-р-р! — задрожали железные клетки.

— Мама-а-а! — заревел я и уткнулся лицом в материнское платье, спасаясь от надвигавшегося со всех сторон воя и грохота.

До меня донесся успокоительный голос матери:

— Не бойся, сынок! Не бойся, маленький!

И следом грозный крик женщины в синем халате:

— Ты что, читать не умеешь, дура несчастная? Ви-

сит ведь табличка на дверях: с часу до двух — обеденный перерыв! А ну, быстро уводи мальчика, пока он не умер со страха!

И снова — извиняющийся голос матери:

— Уходим, родная, уходим! Простите, ради бога!..

Чувство, подобное испытанному тогда в зоопарке, овладело мной, когда надзиратель открыл дверь и впустил меня в камеру.

С минуту я стоял молча, прислонившись спиной к двери, потом бросил на цементный пол свою котомку и присел на нее.

Люди, сидевшие на нарах, взирали на меня с нескрываемым любопытством. «Наверно, надо встать и поздороваться с ними», — подумал я, но не сдвинулся с места.

— Остался еще кто-нибудь на воле? — услышал я чей-то голос, и тут же камера взорвалась хохотом. Я не понял, к кому был обращен этот вопрос, но все же вежливо улыбнулся.

Наступила тишина.

— Как твоя фамилия? — спросил меня кто-то.

— Накашидзе.

— Надо полагать, у тебя есть и имя?

— Заза.

— Вор?

Я удивленно поглядел в сторону спрашивавшего и понял, что вопросы мне задавал один и тот же человек. Это походило на допрос.

— Нет, я не вор! — ответил я довольно грубо.

— Ты не обижайся! Я — староста камеры и должен знать все. Таков порядок. Значит, ты не вор... Зачем же тебя посадили?

— Я... Как вам сказать... В ресторане убили человека... Я и мой товарищ были там... Одним словом...

— Знаю, знаю, вы не убивали его!.. — прервал он меня.

— Откуда вы знаете? — обрадовался я.

— Как — откуда?! Тут, брат, все невинные, непорочные, кроме вот этих трех падших ангелов! — И он с улыбкой указал на трех мужчин. Те тоже улыбнулись. — Падение их заключается в том, что они сами признались в совершенных преступлениях... Гм! Не застукай их милиция на месте, стали бы они признаваться!.. А ты не бойся, парень!

— Да нет, я на самом деле невиновен! — снова пояснил я старосте.

— Ну и отлично! Вот это и интересно — арестовать невинного. А схватить виновного — это, брат, проще всего!

В камере вновь захохотали.

— Ляжешь здесь, рядом со мной. Располагайся!

Я молча положил котомку на нижние нары.

— А теперь здравствуй! — сказал староста и протянул мне руку.

— Здравствуй! — ответил я, крепко пожимая его руку.

— Зовут меня Чичико, а фамилия — Гоголь. И не вздумай, пожалуйста, расспрашивать — почему да откуда такая фамилия! Гоголь — и все! Понятно?

Я недоверчиво взглянул на старосту и рассмеялся:

— Знаю, все мы здесь — Гоголи, Пушкины, Толстые и Наполеоны!

Смеялась вся камера. Смеялся Гоголь, смеялись непорочные, и, представьте, те три падших ангела смеялись тоже...

Я постепенно привык к тюремной жизни, к своей камере, к заключенным, надзирателю, комендантам, фельдшерицам и, особенно, к одной из них — Нуну, которая ежедневно навещала нас.

Она просовывала в форточку свой вздернутый, напудренный носик и напомаженные губы, хлопала огромными ресницами, раскрывала в улыбке рот, показывая все тридцать два жемчужных зуба, и нараспев спрашивала:

— Ну, как дела, преступнички? У кого что болит? Говорите!

От всех болезней, против всякого недомогания у нее было одно лекарство — люминал. Она щедро раздавала всем люминал и уходила. И каждый ее приход был похож на наступление весны. Стоило показаться в форточке ее головке, как все десять обитателей камеры бросались к двери. Нуну делала испуганное лицо и захлопывала форточку. Переждав несколько минут, она вновь показывалась, как солнышко из-за туч.

И не догадывалась Нуну, что для нас — жаждавших тепла, радости и женской ласки мужчин — она была многолика, как индийский бог Шива. Одни видели в ней сестру, другие — дочь, третьи — друга, иные — просто женщину, красивую, будоражащую кровь женщину. Это трудно представить себе, но это было так... И по-

этому каждый из нас избегал открытого проявления своих чувств к Нуну. Поэтому каждый раз после ухода Нуну в камере воцарялась могильная тишина.

Весна в разгаре. Давно прилетели ласточки. Но у нас весной и не пахнет. И ласточек здесь не видно. Почему ласточки не лепят своих гнездышек на тюремных стенах? Этого не знает никто. Быть может, потому, что ласточке — «христовой птице» — больно глядеть на горькую долю людей — братьев во Христе? Или потому, что тюрьма пропитана недобрым, затхлым запахом? А может потому, что тюрьма день-деньской шумит, словно потревоженное осиное гнездо? Или же потому, что в тюрьме нет постоянных жильцов, люди здесь меняются без конца, а ласточку тянет к мирному жилью, к домашнему уюту, она привыкает к обитателям «своего» дома и даже запоминает их лица? А быть может, еще и потому, что в тюрьму не заглядывает солнце? Никто, никто не знает, почему ласточки не лепят своих гнездышек на тюремных стенах...

— Доброе утро, воры! Доброе утро, грабители! Доброе утро, убийцы, аферисты, взяточники, спекулянты, растратчики! Доброе утро! Вставайте, чтоб вам провалиться!

Это — Шошиа со своей галерки.

Шошиа просыпается раньше всех. Собственно, он и спит не более двух часов. Но сны видит за целый год — пестрые, добрые, райские, сказочные сны. Он просыпается, будучи во власти радостного сна, но потом посте-

пенно его одолевает грусть. И тогда начинаются его бесконечные стенания и слезы:

— Горе мне, детки мои дорогие! Чтоб ему сдохнуть, вашему глупому отцу! Что вы едите, что вы пьете, милые мои? Какой черт толкнул меня на этот проклятый ежевичный сок?! Это все ваша мамаша, подлая, ненасытная тварь!..

— Ладно, Шошиа, спрячь свои снимки и перестань причитать с раннего утра! Мы тоже люди, у нас тоже есть дети! Пожалей нас! Дай поспать! — жалобно просит Мебуришвили.

— Осел! Если ты жалеешь своих детей, то какого же черта ты дрыхнешь? Поднимайся сюда, поплачем вместе!

Мебуришвили безнадежно машет рукой и закрывает голову подушкой.

— Доброе утро, Заза! — приветствует меня Шошиа.

— Утро доброе, Шошиа! — отвечаю я и встаю. Все равно поспать больше не удастся.

— Разбудил тебя?

— Нет, что ты!

— Люди, скажите, может, я вас обидел? — беспокоится Шошиа.

— Нет, нет, Шошиа! Валяй, дорогой!

Обидеть? Разве Шошиа способен обидеть кого-нибудь? Шошиа — несчастный человек! У него девяносто четвертая статья — от шести до пятнадцати лет. Он ни на кого не в обиде, во всем винит только себя. Он готов продать душу дьяволу, лишь бы выйти из тюрьмы, обнять своих птенчиков, а потом — потом будь что будет...

— Новую жизнь начну, Заза! Прогоню жену, женюсь на Сиран! Какую она готовит толму — обалде-

ешы! Потом соберу свои манатки, и поедем в деревню... Дом построю, виноградник насажу!

— Где ты насадишь виноградник? — спросил Тигран.

— Как где? На земле, где же еще? — удивляется Шошиа.

— На какой земле? На цветочной?

— Почему на цветочной? На обыкновенной! На моей земле!

— А кто тебе ее даст, землю-то?

— Как кто? Государство!

— Какое государство?

— Как какое? — подскакивает Шошиа. — Наше государство!

— Которое тебя посадило и через неделю припаяет тебе пятнадцать лет?

— Вах, что это за человек! — вскидывается Шошиа. — Чтоб язык у тебя отсох, эгоист проклятый! Чтоб ты сгнил в этой тюрьме! Значит, по-твоему, я должен здесь умереть? Значит, не будет никакой амнистии? Значит, я так и сдохну, глядя на Тиграна Гулояна? На бесовестного Тиграна, который для меня жалеет пяди земли? У, чтоб ты пропал, эгоист паршивый!..

— В чем я провинился, язва ты эдакая! — огрызается Тигран. — Что, я министр земледелия, что ли? Отказал тебе в земле, что ли? Об этом ты должен был подумать тогда, когда деньги загребал, понятно?

— Слышите? Слышите, люди?! Этот убийца меня называет язвой! — кричит Шошиа.

— Это я — убийца? — спрашивает Тигран, вставая.

— А ну, сидеть! — прикрикивает Девдариани, не оборачиваясь к Тиграну.

— Лимон, дорогой, я сяду, но как этот сопляк со мной разговаривает? — робко спрашивает Тигран. Лимон — прозвище Девдариани.

— Вот и сиди!

— Но пусть он не называет меня убийцей...

— А кто в Тонети* убил лесничего? Я, что ли? — спрашивает Шошиа.

— Лесничего я убил потому, что он дрова крестьянам не давал.

Камера хохочет, смеется и сам Тигран.

— Нашелся Арсен из Марабды!** Защитник крестьян! Скажи это своему следователю! — советует Шошиа.

— И говорю!

— И что он, верит тебе?

— Если б верили, не сидел бы я рядом с тобой, дурак ты безмозглый!

— Люди добрые! Слыханное ли дело, чтоб человек гордился своим воровством?! Неужели нет в тебе хоть грамма крови, чтобы покраснеть?

— Уймись, Шошиа! Не надоело тебе скандалить? — подает голос Лимон.

Шошиа, испытывающий перед Девдариани робость, умолкает.

С минуту в камере царит молчание.

— Пришел! — раздается вдруг голос Шошиа.

— Кто пришел, Шошиа? — спрашиваю я.

— Тот самый пьяница! К пивному киоску подошел!..

* Тонети — название села.

** Арсен из Марабды (Арсен Одзелашвили) — народный герой, боровшийся против крепостного гнета.

Деньги кладет!.. Лей же, лей, бессовестный! Доливай!
Видишь, у человека руки трясутся!.. Долил... Вах, вах,
что он делает! Я сойду с ума!

— В чем дело, Шошиа?

— Дует этот болван! Пену сбивает! Боже, где твоя
справедливость! Пей же, дурак!.. Вот так!

— Ну как, Шошиа, выпил?

— Выпил! И даже губы вытер!.. Вах, мне бы сейчас
кружку холодного пива! Одну только кружку!..

— А еще чего, Шошиа? Мечтать так мечтать! —
улыбается Лимон.

— Только кружку пива! — стонет Шошиа.

— И это все? — спрашиваю я.

— Эх, мой Заза! Что пиво! Крылья бы мне! Пару
легких, сильных крыльев! Вылететь отсюда и — айда!..

— Так лети! Ведь ты — скворец!

— Крылья! Где их взять?

— Будут у тебя крылья!

— Когда же, мой друг, когда?

— Вырастут, Шошиа, вырастут! Ты еще птенец! —
говорит Тигран.

— Уже не вырастут! Радуйся, Тигран! Вчера сон
такой видел — не будет у меня крыльев!..

— Какой-такой сон?

— Саят-Нову* видел я во сне.

— Хватит горевать! — сказал он мне. —

Не ищи пропавшее добро,

У других оно уже давно!

— запел Шошиа.

* С а я т - Н о в а (1712—1795) — выдающийся тбилисский поэт-
ашуг. Писал на армянском, грузинском, азербайджанском языках,

— Врешь, Шошиа! Не так!

— Ты напрасно, друг мой, слезы льешь!
Что пропало — того не вернешь!

— поправил его Тигран.

— Это для меня не имеет значения. У Саят-Новы свое горе, у меня свое! — отмахнулся Шошиа и продолжал:

— Гость я мира этого, друзья!
Гость уходит — уйду скоро я...
Прокурора можно провести.
От судьи же никак не уйти!..

— Вах! Ты сам слова сочиняешь, что ли? — удивился Тигран.

— Что тут сочинять? Пою то, что есть! — вздохнул Шошиа:

— Прокурора можно провести,
От судьи же никак не уйти!..

Шошиа — скворец, но поет он словно соловей! Когда поет Шошиа, замирает вся тюрьма. Кому-кому, но Шошиа за пение не грозит карцер. Когда поет Шошиа, Тигран скулит, как побитый щенок.

Шошиа создан для свободы и песен... А по своей глупости сидит в тюрьме! Жаль!..

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Дверь камеры с шумом отворилась. Показался надзиратель. Все встали.

— Выходи, Накашидзе! — сказал он.

— С вещами? — спросил я.

— Нет, с мебелью!.. Выходи на допрос!

Я не спеша вышел из камеры.

— Шагай быстрее, руки за спину! — приказал надзиратель.

Я выполнил приказ.

Миновали коридор, по лестнице спустились во двор.

Я иду впереди, надзиратель — за мной.

Из противоположного корпуса выводят заключенного — наверное, с допроса.

— Повернись лицом к стене и стой! — велит надзиратель.

Я выполняю и этот приказ.

Подходят те двое.

— Здравствуй, Арсен! — обращается чужой надзиратель к моему.

— Здравствуй! — отвечает мой.

— Есть закурить?

— Хочешь «Приму»?

— Хоть стрихнин! Настроение у меня собачье! — отвечает тот. — Чего уставился? Пройди и стой у дверей! — говорит он своему заключенному. Тот идет к двери.

— Вор? — спрашивает мой надзиратель.

— Вор. А твой?

— Убийца.

— Гм, а похож на человека... Встретишь такого на улице — поди разберись, кто он такой! — говорит чужой.

— Что с тобой, почему ты не в духе? — спрашивает мой.

— Ребенок у меня тяжело болен... Врач прописал такое лекарство — негде достать...

— А у евреев?

— Эх, куда там теперь...

— Что за лекарство?

Тот расстегнул нагрудный карман гимнастерки, достал листок бумаги и по слогам прочитал:

— Кор-да-рон. Слыхал?

— Нет.

— Ну, будь здоров!

— Дай тебе бог!

Мы вошли в противоположный корпус, поднялись на второй этаж и остановились у комнаты № 36. Надзиратель приоткрыл дверь.

— Нет его... Заходи, подождем, он скоро вернется.

Надзиратель уселся в кресло следователя, я — напротив, на стуле. На столе лежало наше — Ростома Амилахвари и мое — дело. Надзиратель раскрыл его, пробежал глазами заглавный лист, потом захлопнул папку и взглянул на меня.

— Подумать только, что делает вино! Губит, губит оно человека!.. Вот я, например, однажды в Сололаки...* — Он вдруг вспомнил, что разговаривает с заключенным, и умолк.

— Ты убил? — спросил он в упор.

— Нет! Не убивали ни я, ни мой товарищ!

— Значит, он сам покончил с собой? — усмехнулся надзиратель.

— Что вы за народ! Почему вы не хотите мне ве-

* С о л о л а к и — старое название одного из районов Тбилиси.

ритель?! Говорю же я: подошел к нам какой-то пьяный, нес какую-то чепуху, а потом разозлился, взял да и запустил бутылкой в своих дружков!

— Подошел к вашему столу?

— Да!

— Разозлился?

— Да!

— Запустил бутылкой?

— Да, бутылкой! — Я покосился на графин с водой.

Надзиратель переставил графин ближе к себе.

— А на своем столе он не нашел бутылки?

— Да, не нашел!

— Ну-ка, подай мне твой стул! — попросил надзиратель.

— Как же подать, когда он привинчен к полу?

— А ты знаешь, почему он привинчен?

— Чтобы заключенный не обрушил его на голову такого следователя, как ты! — разозлился я.

Надзиратель рассмеялся.

— А я думаю — наоборот!

На этот раз рассмеялся я.

— Почему ты не веришь, что я не убийца?

— Я, может быть, и верю, но чем ты докажешь?

— Докажу!

— Бог тебе в помощь...

— И все же ты не веришь!

— Понимаешь, с одной стороны, я готов поверить тебе — лицо у тебя доброе, хорошее. Но, с другой стороны, как вспомню убитого... Ну, если б ты сказал, что убил его случайно...

— Какого черта — случайно! Не убивал я!

В комнату вошел следователь. Мы встали.

— Вот, начальник, привел! — отрапортовал мой надзиратель.

— Хорошо. Подожди в коридоре, — ответил следователь, усаживаясь за стол.

Надзиратель вышел, но тотчас же вернулся:

— Извините, начальник, сигареты его случайно захватил! — Он положил на стол передо мной пачку «Примы» и спички и быстро покинул комнату. Что-то теплое разлилось по моему телу, к горлу подкатил соленый комок.

Следователь Гагуа расследует дело с первого же дня нашего ареста. Собственно, он уже закончил следствие, составил обвинительное заключение и ждет лишь наших подписей, чтобы передать дело в прокуратуру. Но мы отказываемся от подписания обвинительного заключения. Гагуа, конечно, давно плюнул бы на это — он может обойтись и без наших подписей, — но ему мешает одно формальное, по его мнению, обстоятельство: до сих пор не допрошен человек, который в тот злополучный вечер подходил к нашему столу и из-за которого, по существу, и разгорелся весь сыр-бор. Вот уже второй месяц Акакий-Како-Каки лежит в больнице с сотрясением мозга.

Каждый день, за исключением субботы и воскресенья, Гагуа вызывает меня к себе и задает одни и те же вопросы. Вот и сейчас он сидит передо мной. И я знаю наизусть, что он скажет, что он сделает, куда он посмотрит... Это становится невыносимо!..

Сейчас он вынет расческу из кармана кителя... Вынул.

Проведет расческой по жидким волосам... Провел.
Дунет на расческу и положит ее в карман... Положил.

Подойдет к окну, откроет его... Открыл.

И снова сядет... Сел.

Потом согнет толстые пальцы, забарабанит по столу и скажет: «Мда-а-а...»

— Мда-а-а... До каких же пор ты думаешь отнекиваться, а?

Боже мой, какая у него большая голова и какой низкий лоб!

— Тебя спрашиваю! Долго мы еще будем играть в молчанку?

— Товарищ Гагуа... — начал я.

— Я тебе не товарищ! Я — капитан милиции Виктор Адольфович Гагуа, следовательно, — поправил он меня.

— Капитан милиции Виктор Адольфович Гагуа, следовательно, я понимаю ваше затруднительное положение, но ведь и вы должны войти в мое безвыходное положение...

— Накашидзе, я не обвиняю тебя в умышленном убийстве. В состоянии опьянения ты запустил в человека бутылкой, что и явилось причиной его смерти. Это несколько облегчает твое положение.

— Я не нуждаюсь в снисхождении, уважаемый следователь, я требую установления истины!

— Истина установлена. Она установлена показаниями восьми свидетелей. Ты читал эти показания.

— Уважаемый следователь, в сотый раз я повторяю вам: эти люди не могли дать иных показаний! На их месте я поступил бы так же.

— Чего же тебе еще надо?

— Единственная моя надежда — Акакий Харабадзе.

— Пострадавший Харабадзе благодаря тебе и твоему дружку сейчас в тяжелом состоянии. У него сотрясение мозга.

— Подождем!

— Долго же тебе придется ждать, Накашидзе! Кроме того, показания Харабадзе для меня не имеют решающего значения. Меня интересует другое: кто из вас двоих убийца — ты или Амилахвари? Впрочем, и это не столь важно. На суде вы сами договоритесь меж собой. Но вы — трусы, ничтожества! Убили человека, а теперь все сваливаете на кого-то другого!

— Я ни на кого ничего не сваливаю! Бутылку бросил Харабадзе!

— Как тебе не стыдно, Накашидзе! Подумай, что ты говоришь: Харабадзе подошел к вашему столу, взял бутылку и швырнул ее в своего товарища?

— Да.

— Разве не проще было ему схватить бутылку со своего же стола?

— Проще.

— Зачем же ты упрямишься?

— Но ведь мог он поступить так, как говорю я?

— Нет, не мог!

— Почему? Почему не мог? Допросите его!

— Накашидзе, твое заpiresательство — тоже преступление!

— Преступление — держать невиновного под арестом!

— Невиновного?

— Допросите Харабадзе!

— Хорошо. Допросим. И он скажет — убили Накашидзе и Амилахвари. Что тогда?

— Если он порядочный человек, не скажет!

— Допустим, сказал. Что тогда?

— Тогда... тогда... — я запнулся.

Действительно, что же будет тогда? Ведь тогда мы погибли — я и Ростом!

— А если он вообще ничего не вспомнит?

Господи, ведь возможно и такое!

— А если он умрет?

Что? Что он сказал? Умрет Харабадзе?! Нет, этого не может быть! Он не имеет права умирать! Еще чего! Погубил нас, а теперь — умереть?! Это проще просто — умереть! Нет, он должен жить! Смерть Харабадзе — это смерть моя, Ростома, наших матерей!

— Нет, уважаемый следователь! Харабадзе не имеет права умирать! — крикнул я, вскакивая со стула.

— Мда-а-а... Подобного тебе нахала я еще не встречал, Накашидзе!.. Ладно, подпиши заключение, и кончим базар!.. Тем более, что Амилахвари сознался во всем.

— Ложь! Я не верю ни одному вашему слову! Дайте мне очную ставку с Амилахвари!

— А как насчет «боржома» с похмелья?

— Издеваетесь?

— Накашидзе, пойми же: все улики против тебя! Назови хоть одного человека, свидетелевавшего в твою пользу, и я сегодня же освобожу тебя!

— Я, я сам этот человек!

— Ты?!

— Да, я!

— Как я могу поверить тебе, тебе, который не верит ни одному моему слову?

— Поверьте моему честному слову! Других свидетельств у меня нет!

— Честное слово... — повторил следователь, — правосудие не может основываться на честном слове... Нет, брат, на честное слово я не поверю даже родному отцу...

— Значит, нет на свете ни чести, ни совести, ни доверия?!

— Подобные понятия Уголовным кодексом не предусмотрены.

— Но есть же и другой — моральный кодекс?!

— Накашидзе, Уголовный кодекс составляли люди высокой морали и нравственности!

— Дайте мне встретиться с Амилахвари!

— Нет!

— С матерью!

— Не имею права. Следствие еще не закончено.

— В таком случае больше не вызывайте меня! Я не стану вам отвечать!

— Воля твоя... — Следователь нажал кнопку звонка.

— Отведи его! — приказал он вошедшему надзирателю. — А ты, Накашидзе, сопляк! Будь у меня право, я набил бы тебе морду!

— Что подделаешь, уважаемый следователь, мы оба терпим бесправие, иначе я тоже с удовольствием набил бы морду вам! — ответил я и вышел.

«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА»*

Гигла Мошиашвили (нижние нары, второй ряд) — скромный, тихий парень лет двадцати пяти. До ареста он работал в Гагра продавцом обувного магазина. Попался Гигла на продаже по спекулятивным ценам бесфактурных лаковых туфель.

Гигла — добряк. Полученные из дому посылки он делит между всеми поровну, сам же не дотрагивается ни до чего чужого, особенно — до мяса.

Дни напролет сидит он себе тихо-смирно и мурлычет одну и ту же глупую песенку:

Люблю я лавки Сабуртало** —
 Братьев-евреев там ведь полно.
 Что вы желаете — драп? Коверкот?
 Цена ему двести — берем пятьсот...
 Товар продается — деньги плывут.
 Бедного еврея в тюрьму ведут...
 Люблю я лавки Сабуртало —
 Братьев-евреев там ведь полно...

— Люди, вы видели второго такого беззаботного человека? — вопрошает со своей галерки Шошиа. — Сидит и поет, сидит и поет!

— А о чем мне заботиться, дорогой мой Шошиа? — спокойно отвечает Гигла. — Не сегодня, так завтра я выйду отсюда.

— Жди! Кабы выпускали таких, как ты, я давно был бы дома!

* «Картлис цховреба» («Житие Грузии») — свод грузинских летописей, начавший складываться с XII века. Важнейший источник по истории древней и средневековой Грузии.

** Сабуртало — район Тбилиси.

— Мне нельзя быть в тюрьме. Вот увидишь, не сегодня, так завтра меня позовут: «Мошиашвили, с вещами!»

— Это почему же тебе нельзя быть в тюрьме? Депутат ты, что ли?

— Да, депутат! — смеется Гигла.

— Чего же ты скрывал, болван! Собирай вещи и уходи!..

— Уйду, Шошиа, уйду! Дай только людям время повернуться!

— Каким людям, Гигла?

— Тем, кто остался на свободе. Они раздобудут хоть пуд золота, но меня отсюда вызволят. Вот увидишь! — И Гигла снова запел:

Люблю я лавки Сабуртало —
 Братьев-евреев там ведь полно...

— Слушай, — оборвал его Шошиа, — бойся бога! У тебя ведь ни слуха, ни голоса! Пожалей нас.

— Отстань, Шошиа, пусть человек поет в свое удовольствие. Мы ведь не мешаем тебе петь! — заступился за Гиглу Девдариани.

— Лимон, дорогой! Я пою печальные песни, а он? Что он поет? Одни слова чего стоят!

Я и Тигран играем в шахматы. Шум в камере мешает Тиграну, и он демонстративно затыкает пальцами уши.

— Шах! — говорю я.

— Не шах, а киши!* — поправляет Тигран.

— Извиняюсь. Киши!

* К и ш и — по-грузински «шах».

Тигран долго вглядывается в доску.

— Чем? — спрашивает он наконец.

— Конем!

— Это не конь, а всадник!

— Дурак, это — конь, а всадником называют человека, сидящего на коне!

— Ва-а! — удивляется Тигран.

Я взял коня и поднес его к носу Тиграна.

— Ну, смотри, сидит на этом коне человек?

— Нет.

— Следовательно, что это такое?

Тигран взял моего коня и поставил его на место.

— Накашидзе, во всех газетах написано, что Петросян Фишеру объявил киши всадником. Почему так написано?

— Не знаю.

— А коли не знаешь, заткнись и называй вещи своими именами!

— Убийца Гулоян!.. — начал я.

— Я не убийца!

— Находящийся под следствием по подозрению в убийстве гражданин Гулоян! Находящийся также под следствием по обвинению в убийстве гражданин Накашидзе, играющий белыми, своим всадником объявляет вашему черному королю киши!

— Вот это понимаю! — сказал довольный Тигран. — Но это... Это не киши, а мат...

— Не мат, а шамати!* — поправил его я.

— Ладно, сам знаю! — Тигран встал, в сердцах смешал шахматные фигуры и прилег на нары.

* Ш а м а т и — по-грузински «мат».

Выждав несколько минут, пока расстроенный Тигран успокоился, я тихо позвал:

— Тигран...

— Аджан!*

— Прошу тебя как брата: укройся как следует одеялом и вообще береги свое здоровье!

— А в чем дело? — спросил удивленно Тигран, приподнявшись на нарах.

— Не дай бог, случится с тобой беда, ведь погиб тогда наш родной грузинский язык!

В камере поднялся хохот.

— У, черт, чтоб тебя!.. — беззлобно выругался Тигран...

А для Мошиашвили, назови ты шахматную фигуру конем, лошадей, мулом, ослом или еще как-нибудь, — все один черт... Он устроился, поджав под себя ноги в своем углу, и тихо напевает:

— Что вы желаете — драп? Коверкот?

Цена ему двести — берем пятьсот...

Товар продается — деньги плывут.

Бедного еврея в тюрьму введут...

— Слышь, Гигла, эту песню ты знаешь до конца? — спрашивает вдруг Лимон.

— До конца, дорогой, до конца, — покорно отвечает Гигла.

— До самого-самого конца?

— Да, дорогой. Хочешь, продиктую слова?

* А д ж а н — отклик: «Слушаю тебя!», «К твоим услугам!» (городской жаргон).

— Слова — потом, а вот если ты не умолкнешь сейчас же, я окуну тебя головой в парашу! — пригрозил вышедший из терпения Лимон.

— Вот видите, видите? А я что говорил? Надоел ты всем, Гигла! — обрадовался Шошиа.

— Почему так, Лимон-джан? Ведь ты недавно сам говорил — «пусть поет в свое удовольствие!»! Вот я и пою, — запротестовал Мошиашвили.

— Очень длинное у тебя получается удовольствие. Говорю тебе — хватит, закройся!

— Замолчи, Гигла, знаешь ведь, в тюрьме хозяин — вор! — вмешался Мебуришвили, бывший директор кладбища, которого Лимон прозвал Лабрадором.

— Уважаемый Чичико, — обратился Гигла к Гоголю, — вы староста. Объясните, пожалуйста, мне: что, в тюрьме действительно хозяевами являются воры?

— Да, Гигла, воры! И дай им бог владеть тюрьмой безраздельно!

— Вах, что за несчастье! Там мне не дает покоя Обэхэс, здесь — Девдариани... Что же делать, куда мне деваться?! — заныл Мошиашвили.

— В Израиль, дорогой Гигла, в Израиль! — посоветовал Чичико.

До сих пор разговор шел в шутливом, безобидном тоне. Но тут, неожиданно для всех, Мошиашвили вдруг побледнел, потом покраснел и, подскочив к развалившемуся на нарах Гоголю, ледяным голосом спросил:

— Что ты сказал? А ну повтори!

Чичико от удивления раскрыл рот.

— Тебе говорю: повтори свои слова! — повисил голос Гигла.

— Мошиашвили, это на самом деле ты? Или мне кажется?

— Это я, Гигла Мошиашвили, и я спрашиваю тебя, Чичико Гоголя: повтори, что ты сказал?

— Я повторю свои слова, Мошиашвили, но ты их уже не услышишь!

Гоголь вскочил, обеими руками схватил Гиглу за горло и приподнял над землей. Лицо у Гиглы побагровело, но он не издал ни звука, не пошевелил пальцем.

— Чичико, оставь его в покое! — попросил Девдариани.

Чичико отпустил Гиглу. Тот молча вернулся на свое место.

— Что он такого тебе сказал? — со смехом обратился к нему Девдариани. — Поезжай, говорит, в Израиль? Ну и что? Мало разве евреев едет в Израиль?

— Мне он этого не должен говорить! — очень серьезно ответил Гигла.

— А ты кто? Багратион-Мухранский?!* — спросил с галерки Шошиа.

— Я двух братьев потерял на фронте Отечественной войны. Мои родители похоронены здесь, на еврейском кладбище в Навтлуги**.

— Тем более! Сирота, человек без роду, без племен... Что тебя здесь держит?

— А ты кто такой? — взорвался Мошиашвили. — Ты, приبلудная овца?! Как ты смеешь прогонять от-

* Багратион-Мухранские — древний княжеский род в Грузии.

** Навтлуги — один из районов Тбилиси.



сюда меня?! Запомни, я, жена моя, дети мои, внуки и правнуки мои — все мы должны умереть здесь, на этой земле! Понятно тебе, Гоголь?!

— Та-а-ак... Это я, значит, приبلудная овца, да? Да знаешь ли ты, дурья твоя башка, что мои предки поселились в Мегрелии* двести пятьдесят лет тому назад?! Что в моих жилах восемьдесят процентов голубой лазской** крови и что прапрапрабабушка моей матери — Медея — была колхидяной?!*** Кто из вас осмелится сказать, что это не так?! И я, и моя жена, и мои дети, и их дети, и дети их детей — все мы умрем и будем похоронены здесь, на этой земле! Понятно тебе, Мошиашвили?!

— Что же это получается? — развел руками недовольный Тигран Гуляян. — Получается, что нашу Грузию вы превратили в свое кладбище?

— Только тебя как раз нам и не хватало, Тигран! — воскликнул Девдариани.

— Не говори так, Лимон-джан! Предков этих пришельцев не было здесь и в помине, когда мой дед на Ходжеванке**** в кости играл! Кроме того, до ареста я скрывался под фамилией Дадешкелиани, — обосновал Тигран свое грузинское происхождение.

— Почему же ты избрал именно фамилию Дадеш-

* Мегрелия — один из уголков Западной Грузии.

** Лазы — этнографическая группа грузин.

*** Колхида — историческое название юго-восточного и восточного Причерноморья, заселенного племенами колхов. В VI в. до н. э. возникло грузинское раннерабовладельческое Колхидское царство. Медея — в древнегреческой мифологии дочь царя Колхиды Эета.

**** Ходжеванка — название кладбища в старом Тбилиси.

შკელიანი? Скрывался бы под фамилией Петросяна! — рассмеялся Девдариани.

— Что ты, Лимон-джан! Разве фамилия Петросян сравнится с Дадешкелиани?!

— Вот потеха, — воскликнул Мебуришвили, — еврей, украинец и армянин спорят, чтоб доказать свое грузинское происхождение! Иди разберись, кто из них прав!

— Все они правы, — проговорил себе под нос Исидор Саларидзе.

Камера замерла. Молчал и Исидор. Наконец Шошиа не выдержал:

— Дядя Исидор, или убей меня, или объясни, — как могут быть грузинами еврей, украинец и армянин?!

— Ну, что касается Гулояна... — начал с улыбкой Исидор, — сами, небось, слышали, как он, армянин, поправлял грузинскую речь грузина Накашидзе... А что Хаос и Картлос* — братья, это всем известно...

— Молодец, дядя Исидор! Молодец! — крикнул Гулоян.

— Хорошо, дядя Исидор, не спорю, Тигран — наш, свой. Но как быть с ними? — Шошиа указал рукой на Гоголя и Мошиашвили.

Исидор на минуту задумался.

— У евреев, — сказал он, — есть один весьма интересный закон: евреем считается тот, у кого мать — еврейка.

— А отец? — спросил Тигран.

— Отец не имеет значения.

* Хаос и Картлос — по преданию, два брата, положившие начало армянскому и грузинскому народам.

— Как это — не имеет? А если, скажем, отец — еврей, а мать — француженка? — спросил Чейшвили.

— Ребенок — француз! — коротко ответил Исидор.

— Это меня вполне устраивает! — обрадовался Чейшвили. — Моя жена по происхождению француженка, следовательно, наши дети — французы. Чего ради я должен выплачивать алименты каким-то французам? Тем более что они — вовсе не мои дети!

— Прекрасно! В таком случае поменяйся документами с Мошиашвили и дуй в Израиль! — посоветовал Тигран.

— С удовольствием, если б он не был арестован за мошенничество и присвоение святой государственной собственности!

— Пой, пташка, пой! А меня через пару дней вызовут: «Мошиашвили, с вещами!»

— Почему, почему вызовут тебя, а не меня?! — захныкал на своей галерке Шошиа. — Чем ты лучше меня? Я украл меньше, чем ты? Растратил меньше, чем ты? Или семья у меня хуже твоей? Или мне меньше тебя хочется дышать свежим воздухом? Скажи, чем ты лучше меня?!

— Тем, дорогой мой Шошиа, что организм у меня слабый, нежный, и тюрьма мне противопоказана. Еще два-три допроса, и я могу погубить много, много народу... Потому что секретов знаю много...

— Не секретов, а саидумло!* — поправил Тигран.

— Да, знаю много... этого самого...

— А я что, я знаю меньше? — спросил Шошиа.

* Саидумло — по-грузински «секрет», «тайна».

— Наоборот, дорогой Шошиа, ты знал больше того, что тебе полагалось знать...

— Это почему же? — разобиделся Шошиа.

— Потому, что ты все уже выложил. А я до сих пор не сказал ни одного слова... И пока я не заговорил, друзья-евреи раздобудут пуд золота, и очень скоро откроется дверь, и надзиратель позовет меня: «Мошиашвили, с вещами!»

— О, горе мне, детки мои дорогие! — запричитал Шошиа. — Какого черта я впутался в это проклятое дело с ежевичным соком! Все это ваша мать, ненасытная, подлая тварь!.. Она одна виновата во всем!..

— Хватит тебе! Надоел со своими детками и соками! — прикрикнул на Шошиа Девдариани. Тот прикусил язык. — Дальше, дядя Исидор?

— Так вот. Если судить по еврейскому закону, Гоголь — грузин, да еще какой! Настоящий колхидец!

— Но здесь не Израиль, а Грузия! — возразил Чейшвили.

— Правильно. Однако были отдельные случаи, когда и в Грузии при необходимости судили точно так же. Например, Лаша и Русудан назывались сыном и дочерью царицы Тамар, а не отца их — Давида.

— Ва-а-а! — вырвалось у Тиграна.

— Ладно, — сказал Шошиа, — допустим, Гоголь — грузин. А этот, Мошиашвили?

— Ну, дорогой Шошиа, у Мошиашвили дела обстоят лучше всех! — улыбнулся Исидор.

— Не говори только, что он — Багратиони!* — предупредил Исидора Шошиа.

* Багратиони — династия грузинских царей.

— Могу сказать кое-что похлеще! Дай только вспомнить...

Исидор закрыл глаза и задумался. Потом начал медленно:

— ...И тогда царь Навуходоносор разгромил Иерусалим, и пришли бежавшие оттуда евреи в Картли*, и попросили приюта у мцхетского старосты, и поселил он их у реки Арагви, на месте, имя которому Занави... Так, если память мне не изменяет, сказано в «Картлис цховреба»...

— Ну и что?

— То, что было это в пятьсот восемьдесят шестом году до нашей эры... Так сказано в «Картлис цховреба»... И еще известно, что чувство родины, любовь к родине — это инстинкт, который развивается на протяжении веков и передается из поколения в поколение. И, учитывая все это, можно сказать, что Мошиашвили, как и каждый из нас, а может быть и больше, имеет право считать себя грузином, ибо Грузия с незапамятных времен была его родиной. Понятно?

— Ты — золото, дядя Исидор! Я ничего не понял, но верю тебе! А ты, Накашидзе, вместо того чтобы разыгрывать меня, побереги-ка лучше этого человека: как бы и вправду вам не потерять свой родной язык! — сказал Тигран так серьезно, что я невольно проникся уважением к Исидору.

И вдруг свершилось чудо, подобного которому не удавалось совершить ни Моисею, ни Христу, ни его апостолам, ни всем чудотворцам, вместе взятым...

* Картли — Грузинское царство.

Дверь камеры отворилась, и появившийся на ее пороге надзиратель громко объявил:

— Мошиашвили, с вещами!..

ВОЗЬМИ МЕНЯ, СОЛНЦЕ!

О ты, светлое, теплое, животворящее, неиссякаемое Светило! Я спрашиваю тебя: неужели для того только лучи твои дошли до нас из недосягаемых далей, для того только пронеслись они с фантастической скоростью через Вселенную и проникли сквозь ржавую решетку тюремной камеры, чтобы лишь на пять минут прикорнуть на моей подушке, чуть согреть мое холодное тело, слегка коснуться моего лица, а потом уйти и унести с собой мою душу, а тело, опустошенное и немощное, оставить на нарах? Или, быть может, это разум мой сам ухватился за них, как летящий в ледяную пропасть охотник хватается за золотую прядь Дали?*

Да что тебе стоит приютить одну жалкую душу, когда весь мир, вся наша Вселенная кружится в извечном движении, ухватившись за твою золотую прядь?!

Останься, побудь со мной, Светило! Или уже не показывайся совсем! Ибо нет для меня мук страшнее, чем видеть, как сквозь пальцы мои ускользают, улечиваются, рассыпаются твои лучи, не одарив меня теплом, надеждой и радостью!..

Сжался, Светило! Прости мне мой ропот! Ты — единственное мое утешение, и каждое утро я жду твоего

* Д а л и — в древнегрузинской мифологии богиня охоты.

прихода, чтоб последовать за тобой. Ибо одно ты способно вывести меня отсюда незаметно для часового, надзирателя, начальника и даже для моих соседей по камере!..

Возьми меня, Солнце!..

ВИДЕНИЕ ПЕРВОЕ

— Проснись, Заза!

Я открываю глаза. У моего изголовья стоит Солнце. Теплая его рука нежно поглаживает мою щеку.

— Здравствуй! — говорю я, щурясь от удовольствия.

— Здравствуй! Поторопись, я ухожу!

— Еще пять минут! — умоляю я.

— Я не могу ждать пять минут. Я не могу оставаться пять минут на одном месте — это от меня не зависит... Вставай!

— Иду! Потерпи немного! — вскакиваю я.

— Ну, пошли!

— Пошли!

Мы легко пробрались сквозь решетку, скользнули по красной жестяной кровле административного корпуса, свернули налево, поднялись по склону горы и очутились у стен Нарикала*.

— Подожди меня здесь. Вечером я зайду за тобой! — предупредило меня Солнце и... ушло.

Солнце ушло.

Я сижу за огромным письменным столом и разбираю утреннюю почту. Большинство писем — анонимные. Лю-

* Нарикала — древняя крепость в Тбилиси.

ди доносят друг на друга: у кого под каким деревом зарыты деньги, где и в какой стене замурованы кубышки, полные золота и драгоценностей, кто за сколько продаст свою должность или свой пай в «деле», кто в каком ресторане устраивает кутежи с музыкантами и проститутками, кто сколько выпивает шампанского, у кого подложный диплом, кто и сколько — в том числе и мои сотрудники — берет за прописку, за оформление автомашины, за устройство на работу, за предоставление квартиры и за многое, многое другое...

Читая такие письма, перестаешь верить, что существуют на свете чистый воздух, поющая птичка, безоблачное небо... Все кажется втоптаным в грязь, смешанным с прахом, покрытым плесенью, и сама наша многострадальная Земля представляется смердящим скопищем зла... Стены собственного кабинета надвигаются на меня, потолок давит, и, чтобы не задохнуться в этой каменной коробке, я выбегаю на улицу. Я жажду встретить знакомого, друга, заглянуть в его добрые, умные глаза, увидеть его светлую улыбку, пожать его честную, теплую руку. Вот и он!

— Здравствуй, Заза!

Милый мой, дорогой, хороший человек! Воротник твоей белоснежной сорочки чуть протерт, и обувь твоя изрядно потрепана. Но загорелое твое лицо светится искренней радостью, и улыбка твоя чиста и открыта...

— Устал? — спрашивает он.

— Устал. Очень устал. Вот здесь болит! — Я кладу руку на свое темя.

— Тяжелая у тебя работа... Как ты поседел, дорогой! — говорит он тихо.

— Ты на перерыве? — спрашиваю я.

— Какой там перерыв! Бегу на совещание... — он бросает взгляд на часы — видно, опаздывает.

— Загляни ко мне, не стесняйся, если что понадобится... — говорю я.

— Не дай бог! — смеется он. — А просто так зайду непременно!

— Да, да, зайди просто так! — прошу я.

Мы расстаемся, и мне становится легче на душе. Я вспоминаю, что есть на свете чистый воздух и прозрачная речка, молодая трава и зеленое дерево, живой цветок и поющая птичка, и что небо не всегда облачно, и что на нашей многострадальной Земле не так уж много грязи и зловония, как это кажется авторам тех анонимок... Эти письма следовало бы сжечь, но — увы! — некоторые из них содержат правду. Их нужно проверить. Вот еще письмо. Оно касается лично меня.

«Уважаемый «министр»!

(Слово «министр» почему-то в кавычках.)

Не думайте, что мир крыт соломой. Настанет и ваш черед, увижу я и вашу жену с «передачей» в руках у дверей «губернской»! Чингисхан и Тамерлан — и те не причинили Грузии столько зла, сколько творите вы! Тюрьмы полны грузин! О чем вы думаете! И вы называете себя грузином?! Подобного вам «грузина» следует убить как собаку!»

«Судьба». Так подписан этот грязный пасквиль.

Слепец! Неужто он не понимает, что я — министр внутренних дел республики, за мной — войска, оружие, закон. У меня мощный институт современных средств розыска, уникальные экспертные лаборатории. Я могу за один день установить личность этого глупого анонимщика и...

Я сжигаю письмо в пепельнице. Бумага горит, тлеет, и легкие хлопья пепла, словно мотыльки, начинают кружить в воздухе.

Я нажимаю кнопку электрического звонка. Входит секретарша.

— Тиночка, возьми почту и захвати заодно пепельницу, вытряхни ее как следует...

— Вас ожидает какая-то пожилая женщина...

— Кто такая?

— Чья-то мать.

— Мать? Пусть подождет немного.

— Она давно ждет.

— Что ей надо?

— Она хочет видеть вас! — улыбается девушка.

— Чему ты улыбаешься?

— Все они хотят видеть вас. Я спрашиваю — «по какому делу?» Они отвечают одинаково: «Об этом я доложу самому министру!»

— Пусть войдет.

В кабинет вошла седая, но довольно еще моложавая и очень симпатичная женщина в старом коверкотовом плаще, с синей в белую крапинку косынкой на шее. Я привстал, поклонился и сел. Женщина ответила исполненным достоинства кивком головы. Лицо, весь облик женщины показались мне знакомыми. Боже мой, где я мог ее видеть?

— Садитесь, пожалуйста!

Женщина приблизилась к длинному приставному столу и присела на стул в самом его конце. На лице ее — грустном и гордом — ясно отражались следы страданий и душевной борьбы; видно было, что она долго колебалась, прежде чем решилась прийти ко мне, — такие лю-

ди редко, разве только в исключительных случаях, идут к кому-нибудь с просьбой. Женщина волновалась.левой рукой она комкала платок, а ее лежащая на столе правая рука с двумя пожелтевшими пальцами заядлой курильщицы заметно дрожала.

— Что вам угодно, уважаемая? — спросил я.

— Я пришла по поводу моего сына, — ответила женщина. И голос ее дрогнул, рот покривился.

Я быстро поднялся, поставил перед ней стакан с водой и положил пачку сигарет.

— Вот, пожалуйста, выпейте воды, закурите, успокойтесь и потом расскажите все. Только не надо плакать, иначе ничего у нас не получится.

Женщина отпила воду, но к сигаретам не притронулась.

— Кто вы? — спросил я.

— Я мать Зазы Накашидзе.

— Заза Накашидзе... Заза Накашидзе... Мой тезка... Не могу припомнить такого... Что же с ним приключилось?

— Мой сын арестован в связи с убийством в ресторане...

— А-а-а, убийство в «Мечте»! Нашумевшее дело... Как вас величать, уважаемая?

— Анна, Анна Накашидзе.

— Мне кажется, уважаемая Анна, слово «в связи» в данном случае неуместно... по отношению к вашему сыну...

— Вы правы, сын мой!.. Простите, что я так обращаюсь к вам.

— Ради бога!.. Продолжайте.

— Мой мальчик действительно не связан с этим де-

лом... Он просто присутствовал при этом... убийстве.

— Так говорит каждая мать и каждый обвиняемый, если он не схвачен с ножом или с револьвером в руках.

— Я знала, что именно это услышу от вас... Знаю, что каждая моя фраза и каждый ваш ответ будут безнадёжно шаблонны...

— Что же нам делать?

— Вы должны поверить моему честному слову... Моему и моего мальчика.

— А как быть с показаниями восьми свидетелей и заключением следователя, которые, кроме честного слова, подкреплены еще и фактами?

— Я понимаю вас, уважаемый товарищ министр, но поймите и вы: мой сын — не фреска, которую можно закрасить, а затем нарисовать заново.

— Как вы сказали?

— Человек — не фреска, которая смотрится лишь в одной плоскости. Человек — это скульптура, которую следует обозревать с той точки, с которой она воспринимается всего лучше, всего красивее.

— Вы правы, уважаемая Анна, но убийство, совершенное в ресторане, — это не искусство, и тюрьма — не выставочный зал.

— Ответ остроумный, но неверный. Если воспитание человека — искусство, то человека следует рассматривать как произведение искусства.

— Но почему вы думаете, что ваш сын — произведение искусства, а я, мои сотрудники и свидетели — толпа профанов, тупо глазеющая на экспонаты выставочного зала?

— Я имела в виду не вас. Но ваш следователь Га-

гау действительно может оказаться в роли профана, ничего не понимающего в искусстве...

— Почему?!

— Потому что ему не хватает именно того, в чем так нуждается мой сын.

— То есть?

— Человеколюбия, вдумчивости и терпения.

— Чем же тогда располагает, по-вашему, Гагуа?

— Одним Уголовным кодексом.

— А разве этого мало?

— Мало! Без гуманности и доброты — очень мало!

— И вы уверены, что если я передам другому следователю дело вашего сына, это спасет его?

— Безусловно.

— Впервые вижу мать, настолько уверенную в правоте своего сына!

— Я верю не сыну, а самой себе.

— Хорошо, если так.

— Да, так, потому что я вырастила его не убийцей!

— Ни одна мать не растит сына убийцей, морфинистом и вором.

— Уважаемый товарищ министр, дайте мне свидание с сыном!

— До окончания следствия свидание исключено.

— Разрешите свидание, и он мне скажет всю правду!

— Невозможно!

— В порядке исключения!

— Такие исключения у нас не приняты.

— Он мне признается во всем!

— Вы так думаете?

— Уверена!

Мне стало не по себе. Неужели она так уверена в

своих силах и в честности своего сына, что обещает мне сделать то, что обязан сделать я, — установить истину?! Как мне быть? Отказать ей? Разрешить?

— Как бы вы поступили на моем месте? — спросил я.
Женщина улыбнулась.

— Чему вы улыбаетесь?

— На вашем месте я освободила бы всех заключенных и вывесила бы в тюремных окнах белые флаги. Поэтому-то, наверно, я и не сижу на вашем месте...

— Вот видите, значит, я прав!

— Разумеется, вы правы. Но теперь поставьте на мое место вашу мать!

— Этого я не могу представить, потому что никогда моя мать не станет матерью уб... — Я запнулся.

Женщина опустила голову.

— Хорошо. Я постараюсь устроить свидание! — сказал я.

— Наверно, у вас очень много просителей? — спросила она, вставая.

— Раньше было больше. Теперь почти нет.

— Почему?

— Убедились, что я никому не помогаю.

— Неправда. Ваши глаза говорят обратное.

— Не льстите мне. Если ваш сын виновен, я палец о палец не ударю ради него!

— Спасибо. Больше мне от вас ничего не нужно!

Женщина повернулась и вышла из кабинета, даже не попрощавшись со мной...

Я снял телефонную трубку, набрал номер.

— Полковник Асатиани слушает!

— Принесите мне дело обвиняемого Зазы Накашидзе.

— Слушаюсь, товарищ генерал!

Дело обвиняемого Зазы Накашидзе... Дело обвиняемого Зазы Накашидзе... Оно переходит из рук в руки, из комнаты в комнату, из коридора в коридор... И я вдруг вспомнил — кто эта женщина!

До того, как меня арестовали, она была моей родной матерью, а я до того, как стать министром, был ее родным сыном...

— Доброе утро, убийцы! Доброе утро, воры! Доброе утро, грабители, мошенники, растратчики, аферисты, распутники! Доброе утро, чтоб вам провалиться! Просыпайтесь, вставайте! — вопит Шошиа.

Камера потягивается, крихтит, вздыхает и... просыпается. Просыпаюсь и я. На моей подушке весело играет пробравшийся сквозь оконную решетку луч солнца.

— Что за наказание! Человеку не дадут поспать! — ворчит Девдариани.

— Доброе утро, Заза! — приветствует меня Шошиа.

— Доброе утро, Шошиа! — отвечаю я.

А луч солнца уже соскользнул с подушки и полез по стене. Ещё минут пять, и он уйдет из камеры...

— Как спалось, дорогой Заза? — интересуется Шошиа.

— Так себе, Шошиа, — нехотя отвечаю я.

— Что, сон дурной приснился?

— Станный, странный сон, Шошиа!

— Какой?

— Приснилось мне, что я — министр внутренних дел! — признался я.

— Ну, а дальше?

— Что — дальше?

— Что же ты сделал?

— А что я мог сделать за каких-то полчаса?

— Господи, он еще спрашивает! За полчаса Обэхээс тридцать человек наших арестовал, а ты, министр, не сумел освободить всего каких-то девять?

— Каких девять? — не понял я.

— Да нас же, нас, кого же еще, эгоист ты паршивый! Чтоб ты сгнил в этой тюрьме! Был министром и не вспомнил друзей, да еще каких друзей?! Боже, где твоя справедливость? Такого дурака во сне министром назначаешь, а мне всю ночь снится один ежевичный сок!.. Люди, убейте этого мерзавца!

Я чувствовал себя виновным и поэтому молчал, понурился.

— Шошиа! Если ты еще раз вздумаешь будить нас спозаранку, пеняй на себя! — предупредил Девдариани.

— А что, Лимон, разве я не прав?

— Прав, но я все же предупреждаю тебя! — повторил Девдариани и начал одеваться.

Шошиа нагнулся ко мне:

— Заза, ты на самом деле был министром?

— Был, Шошиа, был. И впрямь я поступил как эгоист! Каюсь!

Шошиа задумался.

— Будь осторожен, Заза... Большой человек во сне — не к добру! Вот мне, помню, в сорок первом приснился директор нашей школы, а на другой день началась война!.. Эх... — Шошиа вздохнул и стал карабкаться на окно.

— Пришел!

— Кто, Шошиа?

— Этот, наш пьяница!.. Ну, налей же!.. Налей, скс-

тина!.. Не отказывай человеку!.. Налей в долг, бессовестный. Двадцати копеек жалеешь? Выйду, отдам тебе червонец!.. Уф, слава богу, налил!.. Но что он делает?.. Вот идиот!

— В чем дело, Шошиа!

— Пену сдувает! Дурак! Там ведь и без того полкружки!.. Не могу смотреть на такую глупость!.. — Шошиа почти плакал.

— Что же ему делать, Шошиа! Вся прелесть — в сдувании пены! Забыл разве? Вот так... — Я показал, как берут в руки кружку с пивом, как сдувают пену, как не спеша, смакуя, начинают тянуть холодный напиток... И вдруг мне до потери сознания захотелось выпить хоть глоточек пива.

— Прав ты, прав, дорогой Заза! — вздохнул Шошиа.

— Шошиа, Саят-Нову не видел во сне? — спросил Гуляян.

— Знаю я, зачем ты вспомнил Саят-Нову! — догадался Шошиа. — Песни моей захотелось послушать? Нет, не видел!

— Э-э-э, что же ты тогда видел?

— Не говорил!.. Вчера всю ночь я провел на улицах Тбилиси... Кутил на Мтквари с зурначами... Потом пошел в Сиони. Зажег свечи. Потом помолился богу, поблагодарил его за освобождение и обещал навсегда забыть про государственные деньги. А потом вернулся в церковь, поставил новые свечи и попросил бога: «Разреши мне, боже, брать самую малость!» А бог отвечает: «Знаю я тебя! Небось, отхватил миллион с хвостиком!» Хорошо еще, не знал старик, что этот «хвостик» — девятьсот тысяч!

— Новыми или старыми? — спросил удивленный Чейшвили.

— Болван! Миллион девятьсот тысяч новыми — весь бюджет Грузии. Старыми, конечно! А твоя зарплата?

— Сто двадцать.

— Значит, ты из-за каких-то тридцати рублей сидишь в тюрьме! Кто же ты после этого, если не идиот?!

— Конечно, тебе — хищнику и расхитителю социалистической собственности — легко говорить! Для тебя тридцать рублей — пустяк!

— Чейшвили, кем ты работал на воле? — спросил вдруг молчавший до этого Гуляян.

— Инженером.

— А еще?

— Ну... Имел общественную нагрузку... — Чейшвили почему-то воздержался от точного ответа.

— Какую? — пристал Гуляян.

— Был агитатором.

— Значит, был флагом, а потом к тебе приделали древко, да?

В камере захохотали.

— Ну, что я говорил? — крикнул Шошиа. — Идиот и есть!.. Эх, Чейшвили, ты только выпусти меня отсюда, и я обещаю, всю жизнь буду содержать тебя, твоего следователя, твоего прокурора, твоего судью и даже щенкам твоим я буду выплачивать алименты!

— Отдай мне деньги, которые ты украл у государства, и я сам буду содержать тебя и твою Сиран!

— И не стыдно тебе вымогать взятку у меня, у заключенного?

Звякнул засов. Шошиа вмиг соскочил с окна. Отворилась форточка, и в камеру заглянула весна.

— Здравствуйте, преступнички! — пропела Нуну и улыбнулась обворожительной улыбкой.

— Здравствуйте! — стоном выдохнула камера. Все встали.

— Ну, на что жалуетесь?

Гм, на что мы жалуемся? Взгляни на нас, милая наша Нуну! Как ты думаешь, на что мы можем жаловаться? На многое. Не хватает нам женской ласки, любви, человеческого тепла, улыбки, слез, доброго слова... Ты пришла к нам, как дыхание весны, цветущая, пышущая жизнью, и ты спрашиваешь — на что мы жалуемся? Побойся бога, Нуну!

— Говорите же, у кого что болит? — повторила Нуну. Мы бросились к двери.

— Голова!

— Люминал!

— Зубы, уважаемая Нуну!

— Люминал!

— Желудок, доктор!

— Люминал!

— Сердце болит!

— Люминал!

— Горло, Нуну! — сказал я.

— Вощеную веревку! — сказала она и протянула таблетку люминала.

Все засмеялись.

— А это кто? Почему он лежит?

— Это Девдариани, уважаемая! — ответил Чичико.

— Почему он лежит? — удивленно вскинула брови Нуну.

— Да при появлении женщины, да еще такой красавицы, вежливый человек, если он жив, должен, конечно, встать... Видно, ему плохо. Встань, Девдариани!

Тот отрицательно помотал головой.

— Да, плохо ему! — заключил Гоголь.

— Андрей! — позвала Нуну надзирателя.

— Я! — откликнулся тот.

— Открой, пожалуйста, дверь, здесь больной!

— Иду!

Спустя минуту в камеру вошли надзиратель и... Нуну, Нуну! Божество, ангел, неземное существо, подобное которому до сих пор нам приходилось видеть лишь на картинах! Стройная, вся налитая, с высокой грудью, крутыми бедрами, загорелыми, точеными ногами, в белоснежном коротком халате и с санитарной сумкой через плечо, она стояла перед нами — самая красивая из всех живущих на земле женщин, постичь все совершенство и прелесть которой дано было разве только нам — заключенным...

— А ну, сесть по местам! — приказал надзиратель. Никто не сдвинулся — все мы застыли, словно завороненные.

Почувствовав произведенный ею эффект, Нуну нерешительно, но не без гордости направилась к Девдариани.

— Сесть! — повторил надзиратель. Мы встрепенулись. Чичико быстро подал Нуну стул. Она села и ладонью коснулась лба Девдариани.

Тот разомлел.

— Температуры нет. Что болит?

Девдариани молчал.

— Почему ты молчишь? Скажи, что тебя беспоко-

ит? — удивленно повторила Нуну. А меня еще больше удивило бы, если б Девдариани произнес хоть одно слово!

— Ну, что тебя беспокоит? Что ты чувствуешь? Говори же!

— Чувствую приближение смерти, доктор! — простонал наконец Девдариани.

— Ради бога, не зови меня доктором! Фельдшерница я!

— Для нас ты все: и доктор, и профессор, и королева!

— Ладно, зови хоть академиком, только скажи, как это ты чувствуешь приближение смерти?

— Вот так: идет, идет, подходит ко мне, я слышу ее дыхание... — начал Лимон.

Вдруг из коридора донесся страшный вопль.

— Не выйду!.. Не хочу!.. Пустите меня!.. Пока не приведете прокурора, я не стану есть!..

Наш надзиратель стремглав выбежал из камеры. И тут произошло небывалое в истории «губернской» событие: то ли ее толкнул Гулоян, то ли задел выбегавший надзиратель, только дверь камеры с лязгом захлопнулась! Нуну вскочила как ужаленная, метнулась к двери, рванула ее, но было уже поздно: щеколда замкнулась снаружи. Нуну повернулась, прижалась спиной к двери и уставилась на нас расширенными от ужаса глазами. А мы, застыв на местах и затаив дыхание, потрясенные, смотрели на нее. Бледный как полотно Девдариани встал и медленно направился к ней. Я похолодел.

— Не подходи! — взвизгнула Нуну. — Не подходи! Не подходи!

Девдариани обеими руками схватил онемевшую от



страха Нуну, приподнял ее, поднес к стоявшему посередине камеры стулу, поставил на этот стул и несколько минут молча смотрел на нее. Потом отступил на три шага, воздел, словно в молитве, руки и шепотом начал:

О дивный стан, о стройный стан, о рук твоих переплетенье!
 Очей, ресниц, бровей агат, граната губ твоих цветенье!

Ухватившись рукой за металлическую стойку нар, я стоял как окаменевший. Во рту пересохло.

В груди лелея образ твой, луной ущербною я таю!
 Отрады нет, и в тягость жизнь, и смерть я, грешный, призываю!

Девдариани повернулся к нам. По щекам его стекали слезы.

О вы, кто любит и любил! Молю, страдалец, вас,
 несчастный:
 Миджнур* мертвого — меня — земле предайте в день
 ненастный!**

Девдариани сглотнул слезы, бросился на нары и уткнулся лицом в подушку.

Оглушенная, оторопевшая Нуну стояла на стуле и лишь моргала полными слез глазами. Чтобы не разрыдаться перед заключенными, она вдруг соскочила со стула, подбежала к двери и забарабанила кулачками.

В камеру ворвался перепуганный надзиратель.

— Кто захлопнул дверь? — взревел он.

Мы молчали. Нуну вышла.

* Миджнур — влюбленный. (Арабское «меджнун» — «обезумевший от любви».)

** Стихи грузинского поэта Бесики (Виссариона Габашвили, 1750—1791 гг.).

— Гоголь, кто запер дверь? — налетел надзиратель на Чичико.

Все поняли — за криком он хотел скрыть собственную оплошность.

— Идите, начальник, ничего плохого не произошло! — спокойно ответил Гоголь.

— Если ее кто обидел, сгною всех в карцере! — пригрозил надзиратель.

Гуляян встал, пересек камеру и остановился перед надзирателем:

— Сказали же тебе: уходи, пока красивый!

С минуту надзиратель и Тигран смотрели в глаза друг другу. Потом надзиратель круто повернулся и вышел из камеры.

Камера облегченно вздохнула.

Ночью камера спит многоликим, тревожным сном. Люди стонут, бредят, плачут, смеются во сне. Мятажный, беспокойный дух витает ночью по камере...

Сегодня, утомленные впечатлениями дня, мы улеглись раньше обычного. И каждый из нас затаил в груди невысказанную грусть или радость от того странного, необыкновенного и незабываемого, что произошло сегодня у нас...

Вот уже два часа я лежу с открытыми глазами. Сон не идет. Я не свожу глаз с висящей под потолком мигающей лампочки. Лампочка напоминает мне вспугнутого на рассвете светлячка: ночь — не ночь, день — не день, и бедный светлячок беспомощно носится в воздухе, не зная, как быть — светить или погаснуть...

Я не сплю. Мне не спится.

Не спит лампочка под потолком. Ей бы очень хотелось уснуть, но нельзя. Она обязана бодрствовать.

И еще не спит глазок в дверях камеры, единственный циклопический глаз, смотрящий не изнутри наружу, а наоборот — снаружи вовнутрь. Я чувствую, как он раскрывается периодически и смотрит, настойчиво всматривается в каждого из нас.

Спят все, кроме меня. Все? Нет, не все. Девдариани не должен спать. И хотя лежит он без движения, я готов поклясться — он не спит.

— Лимон! — позвал я тихо.

Он не ответил.

— Лимон! — повторил я. — Ты ведь не спишь?

— Что тебе? — откликнулся он.

— Не спится мне!

— Может, спеть тебе колыбельную?

— Лимон, а как звать тебя?

— Что, Лимон тебе не нравится?

— Нравится. Но ведь это не настоящее имя.

— Како мое имя. Акакий.

— Акакий — Како — Каки, — сказал я про себя.

— Что?

— Ничего. А почему — Лимон?

— В детстве меня звали Макакой. А Лимоном прозвали позже, на втором сроке... Желчь у меня разлилась, понимаешь? Пожелтел, как лимон.

— Ну, знаешь... Дыня — тоже желтая!

— Да и характер у меня немного того... Кислый...

— А-а...

— Успокоился теперь?

— Нет.

- Не вздумай только говорить, что желтым и кислым бывает огурец! — предупредил Лимон.
- Наступила долгая пауза.
- Лимон! — снова начал я.
- Ну, что еще?
- Ты влюбился? — спросил я, и сердце мое затрепыхалось в ожидании ответа.
- Что-о-о?!
- Влюбился, говорю, в нее?
- В кого?
- Будто не знаешь!
- В кого же?
- В Нуну!
- Лимон долго не отвечал.
- Ты, дорогой мой, — наконец заговорил он, — мало того, что зеленый, простофиля, да к тому же, оказывается, еще и балбес!
- Ладно, ладно, поглядел бы ты на себя, когда ты ее подхватил... А как стихи читал...
- Глупости!
- А плакал почему?!
- Ну, знаешь, у заключенного глаза на мокром месте...
- А я? Почему я заплакал?
- А ты разве не заключенный?
- Хорошо. Но ведь Нуну тоже плакала?
- Она всех нас жалеет одинаково...
- Лимон, ты любил когда-нибудь?
- Любил. С первого до третьего класса любил одну девочку, Нелли ее звали... Когда учительница выстраивала нас парами, чтобы перейти улицу, мы всегда оказывались рядом...

— Потом?

— Потом — ничего... Больше я никого не любил. Не успеваю влюбляться — часто меня сажают! — вздохнул Лимон.

— Значит, не любишь Нуну? — пристал я.

— Люблю! Еще как! Только не Нуну. У моей возлюбленной нет имени! Нуну, Манану, Кетино, Жозефину, Тамар — всех я люблю, понимаешь? Я женщину люблю, понимаешь? Женщину и красоту!

У меня отлегло от сердца.

— А Нуну очень красивая, правда, Лимон?

— Нет.

— Как это нет?!

— А вот так. Я и ты — заключенные, узники. И мы изголодались по женщине. Поэтому эта фельдшерница и кажется нам красавицей. А на воле она выглядела бы как самая обыкновенная девушка, только и всего!

— Что ты, Лимон! Такой красивой девушки я еще не встречал!

— Слушай, ты что, правда влюбился в нее?

— Еще как! — выпалил я и почувствовал, что краска залила мое лицо.

— Ва-а-а, значит, любит! — проговорил про себя Лимон.

— Люблю, Лимон, люблю! — подтвердил я.

— Снится?

— Как же она приснится, если я не сплю ночи напролет!

— Значит, не снится?

— Я видения вижу... Когда вы спите, я вижу, как она входит в камеру... То появится, то исчезнет...

Девдариани громко рассмеялся.

— Ты что? — удивился я.

— Вот теперь я верю, что ты не убийца.

— Почему?

— Потому, что убийцы ночью видят мертвецов, а не женщин!

— А ты почему знаешь?

— Знаю...

— Откуда?

— Утром спроси у Тиграна. Он объяснит... А теперь — спать! — Лимон отвернулся к стене.

Прошло немало времени, а я так и не смогу уснуть

— Лимон! — позвал я.

— Ты что, еще не спишь, парень? Все носишься со своей Нуну?

— Да, Лимон, все с ней!

— Счастливый ты человек!

— Лимон, знаешь, по-моему, самое великое из всего, что создано на свете, — женщина!

— Может быть! — ответил Лимон после длительного раздумья.

— Самое великое из всего, что создано, — это азбука, знамя и гимн, ибо в них истоки свободы! — услышали мы вдруг голос Исидора.

Я вздрогнул.

— Вы тоже не спите, дядя Исидор? — спросил Девдариани.

— Нет.

— Почему?

— Убитый мерещится...

— Шутите, дядя Исидор!

— Нет, не шучу... Еще несколько ночей, и я, наверно, не выдержу, умру!



— Что вы, дядя Исидор, до смерти еще долгий путь! — успокоил его Лимон.

— Самый долгий путь тот, по которому идут и не возвращаются. Понял?

— Не понял...

— Жаль...

Исидор умолк. Молчали и мы. Тишина воцарилась в камере...

...Потом вновь явилось Солнце. Сегодня Светило было столь велико, что не смогло протиснуться сквозь решетку нашего окна. Оно, словно руку, протянуло свой луч, обняло меня, приподняло с нар и увело с собой...

ВИДЕНИЕ ВТОРОЕ

Нуну лежала на кровати навзничь, подложив под голову руки. Она смотрела на меня полуприкрытыми глазами, видя и не видя, как бы блуждая в смутных, далеких сновидениях. Я сидел на краю кровати и терпеливо ждал, когда она проснется окончательно, удивленная, присядет на постели, обнимет меня и скажет своим мягким грудным голосом: «Заза, мой Заза!..»

Долго сидел я затаив дыхание, а потом понял, что Нуну давно уже не спит, уже смотрит на меня своими большими черными глазами и вовсе не удивляется, что кто-то сидит на ее кровати и пожирает глазами ее красивую, обнажившуюся во сне грудь и что этот кто-то я, Заза Накашидзе.

— Ты пришел с солнечным лучом, да? — спросила она.

— Да.

— Но почему ты сперва не пошел к матери?

— Мать подождет... Куда мать денется?

— Бедные матери!.. Когда я стану матерью, а мой сын — убийцей, мне тоже придется ждать... Куда я денусь? Верно? — Ну, рассмеялась странным, грустным смехом.

— Ты сомневаешься в моей невинности? — спросил я с болью в сердце.

— Прошло два месяца — долгих, страшных два месяца ожидания. Два месяца могут превратиться в два года, в шесть, десять, пятнадцать лет...

— Я прошу тебя лишь об одном годе! Жди меня всего один год!

— Почему?

— За год все прояснится...

— А если не прояснится?

— Тогда ты свободна.

— А почему я не свободна сейчас?

— Сейчас ты обязана ждать!

— Я к этому делу непричастна! Я не несу никакой ответственности! И никто не вынудит меня ждать!

— Я также непричастен к этому делу, но меня заставляют ждать.

— Ты — заключенный, ты — в тюрьме.

— Ты тоже в тюрьме!

— Каким образом?

— Я — твои камера, замок и тюрьма.

— Ты обвиняемый, а я невиновна.

— С сегодняшнего дня ты также обвиняемая!

— В чем я обвиняюсь? Быть может, в том, что я каждый день прихожу сюда и даю тебе люминал? Но

ведь таких, как ты, у меня сотни! Или в том, что я не отказала твоей матери, которая пришла ко мне ночью и коленапреклоненно умоляла меня передать тебе письмо? Но я сделала это не ради тебя, а ради твоей матери, которая в тот миг мне напомнила мою покойную мать... Я и не знаю, о чем говорилось в том письме...

— В том письме мать просила меня говорить правду и только правду.

— Почему?

— Потому что правда — источник свободы!

— А если ты — убийца? Я ничего не знаю о тебе. Кто ты? Откуда и зачем ты пришел в мою жизнь?

— Я — Заза Накашидзе, сын Ноя. Я и мой отец дали начало роду человеческому, и с тех пор ты — жена моя. Я люблю тебя миллионы лет, и теперь я обвиняю тебя.

— В чем обвиняешь меня?

— В убийстве, воровстве, взяточничестве, измене Родине, прелюбодеянии.

— В чем еще?

— Во всех смертных грехах... Тебя вместе со мной поставят у стенки. Тебя расстреляют.

— А что будет потом?

— Потом? Ты умрешь, и никто не поинтересуется — кто ты, была ли ты виновна.

— Потом?

— Никто тебя не оплачет, никто не придет на твою могилу.

— Дальше?

— Ты превратишься в землю, и все, посеянное в тебе, прорастет лебедой и сорняком.

— Потом?



- Потом тебя, как непригодную землю, начнут обжигать. Ты станешь кирпичом.
- Дальше?
- Из тебя сложат дом. И дом рухнет, и люди, много безвинных людей погибнут под твоими развалинами.
- Дальше?
- Твои развалины обнесут колючей проволокой.
- Почему?
- Потому что они долго еще будут угрожать людям гибелью.
- Хватит! Кто мне предъявляет столь жалкое обвинение?
- Я!
- Кто ты?
- Я — обвиняемый без вины человек.
- И ты, безвинный, можешь обвинять меня, безвинную?! Тебе не жаль меня?
- Нет!
- Почему?
- Потому что никто...
- И тебе не стыдно?
- Нет!
- Почему?
- Потому что многие вокруг меня не стыдятся ничего.
- И вы так живете?
- Мы не живем. Мы влачим жалкое существование.
- Вы от сотворения мира были такими эгоистами или стали потом?
- Одни были, другие стали.
- А ты? Что же стало с тобой?

— Не знаю! Ничего я не знаю, Нуну! Спаси меня, иначе я погибну!

Я опустился перед Нуну на колени, приник головой к ее груди и заплакал. Я почувствовал нежное прикосновение ее ласковых, теплых рук, и шелковые ее волосы закрыли мое лицо. Потом я услышал горячий шепот Нуну:

— Заза, бедный мой Заза! Что с тобой, дорогой мальчик? Не бойся! Я буду ждать тебя тысячу лет! Если возможно ожидание после жизни, я буду ждать тебя и после жизни. Я люблю тебя, Заза! О, как я тебя люблю! Люблю таким, какой ты есть, — виновным и безвинным, убийцей и убитым... Люблю, люблю, люблю тебя, мой Заза!..

Долго шептала Нуну, и горячие ее слезы капали мне на лицо.

— А теперь встань и уходи! — сказала потом она. — Опусть только занавеску — солнце режет глаза...

Я опустил занавеску.

Нуну закрыла глаза.

Нуну заснула

ПАДШИЙ АНГЕЛ

Утром нас разбудил надзиратель

— Подье-о-ом! Подье-о-ом! . — гремел в коридоре его зычный голос.

Отворилась дверь камеры.

— Староста! — крикнул надзиратель.

— Я! — лениво отозвался Гоголь, протирая глаза.

— Выходи, в библиотеку!

— Знаю я вашу библиотеку... — пробурчал про себя Гоголь. — Чернышевский, ступай ты, выбери там чего-нибудь!

Гамцемлидзе взял несколько книг, лежавших на полке в углу камеры, и вышел.

Тюремную библиотеку богатой не назовешь. Каждая прочитанная книга, словно бумеранг, возвращается к тебе спустя неделю. И тем не менее всякий раз, когда надзиратель объявляет об очередной смене книг, нас охватывает радостное волнение. Мы ждем чего-то нового, интересного, что способно заставить хоть на один день забыть про свое горе. Книга в тюрьме приобретает одно несомненное преимущество: ее герой входит в твою жизнь быстро и непосредственно, ты не взвешиваешь на аптекарских весах каждый его шаг, не смотришь ему в зубы с позиций критика — принимаешь его таким, каков он есть. Потому что в тюрьме тебе не хватает друга, человека, близкого, и каждое новое лицо — будь то даже книжный герой — для тебя дорого и желанно.

Гамцемлидзе вернулся. Он с недовольным ворчанием бросил на стол стопку книг и улегся на нары. Все кинулись к книгам.

Не имея желания бороться, я подошел к столу последним. Остались две книги: «Времена Короленко» Горького и брошюра «Русскому трамваю — 60 лет».

Я взял Горького, хотя уже читал его два раза.

— Заза-джан, мне досталась какая-то минеральная книга — «В соляной колыбели»*. Ты не знаешь, что это такое? — спросил меня Тигран.

* «В соляной колыбели» — рассказ грузинского писателя Р. Коркия.

— Хороший рассказ, прочти! — ответил я. — Чернышевского не было? — спросил я Гамцемлидзе. Он подзрительно взглянул на меня, но, убедившись, что я не разыгрываю его, вздохнул:

— Не было...

— Может, прочтешь Горького?

— Читал уже...

— Гамцемлидзе, что ты прицепился к этому Чернышевскому? Видишь ведь, нет его! — сказал Тигран.

— Мой разум, уважаемый, нуждается в политической пище, в политической литературе! У меня в голове мозги, а не девственная целина, как у вас!

— Ладно, ладно!.. Целина!.. Ты такой же паразит, как и я, потому и валяешься здесь, рядом со мной... Чернышевского захотел! Об этом тебе следовало подумать там, на воле, а не в тюрьме!.. Читай то, что дают, и пой «Таво чемо»*, а не хочешь, — иди к... — загнул Тигран.

— И уйду! Конечно, уйду! Не все же здесь сидят убийцы вроде тебя! — обиделся Гамцемлидзе.

— Не сидят, а восседают! — поправил его Тигран.

— Боже мой, с ума меня сведет этот интеллеktуал! — воскликнул Гамцемлидзе.

— Извиняюсь, что значит «интеллеktуал?» — искренне поинтересовался Тигран.

— Болван! — проговорил Гамцемлидзе и отвернулся к стене.

— Болван — твой отец! — уточнил Тигран.

* «Таво чемо» — лирическая ария из оперы З.Палиашвили «Даиси». В буквальном переводе: «Несчастливая моя головушка».

— Оставь его, Тигран, с дурака и спрос мал! — вмешался Лимон.

— Товарищ Девдариани! Я настоятельно требую, чтоб вы перестали выражаться в мой адрес! — вспыхнул Гамцемлидзе.

— А пошел ты к... политикан несчастный!

— Не запугивайте, пожалуйста, меня! Здесь вам не пройдет воровская диктатура! — продолжал кипятиться Гамцемлидзе.

— Но и крестьянская диктатура тоже! — приподнялся на нарах Девдариани.

— Замолчи, Гамцемлидзе, знаешь ведь — тюрьма принадлежит ворами! — прикрикнул Чейшвили. — Не так ли, Чичико?

— Так, так, дорогой! И пусть себе принадлежит на здоровье!

В камере наступила тишина. Все сидели, уткнувшись лицом в книгу. Но бог ведает: читали они или каждый думал о своем? По-моему, никто, кроме Исидора, не читал, — за целый час, кроме как с его места, я ни разу не услышал шелеста перелистываемых страниц. Исидор лежал на спине и рукой отгонял дым от папироски Чейшвили.

Странно... Вот уже несколько месяцев мы живем в одной камере. Казалось бы, мы знаем все о каждом из нас. Казалось бы, мы откровенны между собой. И все же как мы далеки друг от друга! И эта отдаленность мне напоминает линию горизонта: ты будто приближаешься к ней, а она отодвигается от тебя.

Заклученные ведут себя по-разному. Один похож на тюленя — гладок, увертлив. Другой — как рыба: думаешь, он уже у тебя в руках, ан нет! Глядишь, выскочил,

ушел... Этот — как волк: затаил в сердце злобу и молчит. Тот, словно змея, боится, как бы кто не раздавил, и поэтому держит наготове ядовитое жало. А иной, напуганный и затравленный, как молодая косуля, боится всех и всего. Им некуда деться, негде укрыться, вот они и вынуждены прикидываться кто тюленем, кто волком, кто рыбой, кто змеей... А есть и открытые, бесшабашные натуры: такой весь перед тобой, душа нараспашку. Он уже свикся со своим положением и теперь ждет чего-то, что вот-вот должно произойти. Что именно и когда именно, — этого в тюрьме никто не знает. Но в один прекрасный день это «что-то» все же наступает. Оно нарекает все своим именем. Оно воздаст каждому по заслугам. Оно отмеряет и отвешивает причитающееся всем с точностью до золотника. Это «что-то» одни из заключенных называют Богом, другие — Судьбой, третьи — Справедливостью...

Я — тоже заключенный, и я также жду свершения этой Справедливости. Жду, когда раскроется дверь, появится Она, возложит на мое плечо свою праведную руку и скажет:

— Заза Накашидзе, встань и следуй со мной!

— Гамцемлидзе, получи обвинительное заключение! — объявил надзиратель и протянул внезапно побледневшему Гамцемлидзе несколько сложенных вдвое листов бумаги.

Гамцемлидзе взял дрожащей рукой бумаги, обвел камеру испуганными глазами, торопливо сунул заключение в карман и сел. Надзиратель ушел.

В камере послышался глухой ропот, потом наступи-

ла мертвая тишина. Происходило нечто из ряда вон выходящее. Согласно неписаному закону тюрьмы, каждый заключенный обязан вручить старосте камеры обвинительное заключение для всеобщего оглашения, — люди хотят знать, с кем их свела судьба, за какие преступления арестован каждый их сосед по камере. Гамцемлидзе нарушил этот оберегаемый свято порядок!..

Напряжение в камере нарастало. Казалось, в ней даже стало жарче... Наши натянутые до предела нервы словно сплелись невидимыми нитями в один общий нерв, и стоило одному из нас неосторожно потянуть за свою нить, как... Первым коснулся этого общего нерва Гоголь. Коснулся осторожно, чуть дотронувшись пальцем, ибо Гоголь был старостой и хорошо знал, к чему ведет в камере малейшая неосмотрительность.

— Гамцемлидзе, ты, конечно... того... не обижайся... Но не кажется ли тебе, что ты повел себя не совсем правильно? — спросил он, обратившись к Гамцемлидзе.

— Чем неправильно, товарищ староста? — удивленным тоном спросил тот.

— А вот чем: мы все здесь пользуемся одинаковыми правами... — Гоголь сделал паузу и покосился на Девдариани. — Все, кроме воров... И ты, например, знаешь, за что сидит каждый из нас... — Гоголь сделал еще одну паузу и перевел взгляд на Тиграна. Гулоян и Девдариани лежали на нарах, не вмешиваясь в дело. — Вот я и говорю, ты знаешь про нас все, поэтому разреши и нам поинтересоваться — кто ты, в конце концов, и в чем ты обвиняешься!

— Не понимаю, что вам от меня нужно? — нервозно переспросил Гамцемлидзе.

— Передай обвинительное заключение старосте. Так принято, — сказал Шошиа.

— Какое еще обвинительное заключение! Это еще вопрос — кто здесь обвинитель и кто обвиняемый, кто виновный и кто безвинный! — закричал Гамцемлидзе.

— Прочти нам обвинительное заключение! — спокойно, но твердо потребовал Шошиа.

— Что значит заключение?! — не сдавался Гамцемлидзе. — Здесь могли написать тысячу глупостей. Вот ты! — обратился он к Гулюяну. — Ты обвиняешься в убийстве. Разве ты убил человека?

Гулюян смущенно отвернулся.

— Убил! — ответил за него Девдариани.

— Это правда? — спросил Гамцемлидзе Тиграна.

Тот опустил голову.

— Ты брал взятки? — повернулся Гамцемлидзе к Мебуришвили.

— Смотря как понимать взятку... — ушел от ответа Мебуришвили.

— А ты, Чейшвили? — не сдавался Гамцемлидзе.

— Послушай, Гамцемлидзе! — сказал Девдариани. — Из всех нас только два человека не убивали, не воровали, взятки не брали и вообще ни в чем не виновны — это уважаемый Исидор и Заза Накашидзе. Ну-ка, кто осмелится сказать, что это не так?

— Я, я невиновен! — взвизгнул Гамцемлидзе.

— А нам об этом неизвестно... — сказал Лимон. — Отдай заключение старосте!

— Никому я ничего не отдам! Нет у меня никакого старосты! Я сам себе староста! Я не папуас, в вожжах и предводителях не нуждаюсь! Это тирания какая-то!

Вот еще!.. А ты, — он повернулся к Лимону, — ты, пожалуйста, не пугай меня! «Я поклялся всегда быть злейшим врагом всякого проявления тирании над человеческим разумом!» — так сказал Джефферсон*, отец американской Декларации свободы! И я повторяю его слова!

Лимон не ответил.

— Отнять у него заключение, и все тут! — предложил Чичико.

Гамцемлидзе выхватил из кармана бумаги, смял их и бросился к параше. Но было уже поздно. Чейшвили и Гулоян схватили его. Гамцемлидзе был пригвожден к стене, словно распятый Христос.

Гоголь подобрал рассыпавшиеся по полу листки, взобрался на верхние нары и приготовился к чтению обвинительного заключения.

— Отпустите его! — крикнул Чичико сверху.

Чейшвили и Гулоян отошли в сторону. Гамцемлидзе медленно осел на пол, прислонился спиной к стене и притих.

— Когда Джефферсон говорил те слова, он был президентом, во-первых, имел двухмиллионное войско, во-вторых, и пользовался к тому же поддержкой двухсот миллионов человек, — это в-третьих. Не забывай об этом, Гамцемлидзе! А теперь слушайте!.. — И Чичико Гоголь приступил к оглашению обвинительного заключения — уникального шедевра красноречия...

* Джефферсон Томас (1743—1826) — американский государственный деятель, философ, автор проекта «Декларации независимости», провозгласившей независимость Соединенных Штатов Америки (1776 г.).

«Обвинительное заключение»

по обвинению Вячеслава Ражденовича Гамцемлидзе в преступлении, предусмотренном 118-й статьей Уголовного кодекса Грузинской ССР. Дело возбуждено в прокуратуре Орджоникидзевского района г. Тбилиси 20 ноября ... года.

Проведенным по делу следствием установлено следующее:

24 октября, около 23 часов 30 минут, находившийся в состоянии опьянения Вячеслав Ражденович Гамцемлидзе явился на квартиру своего друга, ныне находящегося в заключении Вахтанга Кирилловича Гамкрелидзе (пр. Чавчавадзе, № 761), и передал находившейся в квартире жене Гамкрелидзе — Елене Абибовне Гажония 100 (сто) рублей. Пострадавшая Гажония в своих показаниях показывает, что Гамцемлидзе, как близкий друг Гамкрелидзе, и раньше оказывал ей материальную помощь. Однако на сей раз взамен 100 (ста) рублей Гамцемлидзе предложил Гажония вступить с ним в половую связь. Пострадавшая Гажония, уже несколько лет находящаяся в незамужнем состоянии в связи с нахождением ее мужа в заключении, все же категорически отказалась от вступления в интимную связь с Гамцемлидзе. Пострадавшая Гажония показывает в своих показаниях, что она и раньше замечала у Гамцемлидзе неравнодушные взгляды в ее адрес. Получив отказ, обвиняемый Вячеслав Ражденович Гамцемлидзе (семейный) набросился на пострадавшую Гажония с целью удовлетворения своей половой страсти. Долго терпела и молчала пострадавшая Гажония, не желая криком привлечь внимание соседей, но обвиняемый Гамцемлидзе не от-

ставал от нее. Тогда пострадавшая Гажония была вынуждена изо всех сил укунуть обвиняемого Гамцемлидзе, в результате чего у него вырвался звериный рев, а также оказался вырванным на левом плече кусок мяса. Ворвавшиеся на крик соседи стали свидетелями того, как зарвавшийся Гамцемлидзе рвал платье на пострадавшей Гажония и как он рвался к установлению с ней интимной связи, и как она вырывалась из его объятий...»

Гоголь смолк и окинул камеру внимательным взглядом. Онемевшие заключенные смотрели на него расширенными от удивления глазами. Все услышанное было для них столь же неожиданным и непонятым, как раскат грома в ясном небе.

Гоголь спустился с нар и остановился перед Гамцемлидзе.

— Ну, что ты скажешь?

— Неправда! Неправда это! — крикнул Гамцемлидзе.

Тогда Гоголь с силой рванул левый рукав Гамцемлидзе, и на обнажившейся руке, у самого плеча, все ясно увидели бледно-розовый рубец.

Натянутый до предела нерв лопнул...

...Что произошло дальше, страшно вспомнить. Там, где сидел Гамцемлидзе, образовалась свалка. Слышались только громкое пыхтение, глухие звуки ударов и протяжное мычание Гамцемлидзе.

Кровь бросилась мне в голову. Не помня себя, я подбежал к сгрудившимся людям и без разбора стал молотить их кулаками.

— Что вы делаете, убийцы! Оставьте его! Оставьте! Умрет он. Что вы делаете! — кричал я.

Потом я кинулся к двери и забарабанил в нее ногами и руками:

— Помогите! Убивают!

Чья-то сильная рука оторвала меня от дверей. Передо мной стоял Гоголь с помутившимся взглядом и перекошенным от злобы лицом. Я было снова рванулся, но сокрушительной силы удар в челюсть свалил меня с ног.

...Когда я открыл глаза, в камере стояла небывалая тишина. Все, кроме Гоголя и Гамцемлидзе, сидели на своих местах.

Заметив, что я очнулся, Тигран с минуту молча поглядел на меня, безнадежно махнул рукой и проворчал:

— И этого человека обвиняют в убийстве?!

— Что тут произошло? — спросил я сидевшего у моего изголовья Исидора.

— То, что у половины сидящих здесь людей жены оставлены на попечение друзей...

— Убили его?

— Нет.

— А вы верите, дядя Исидор, обвинительному заключению?

— Не знаю... Толстой говорил: «Дьявол — это падший ангел...» Следовательно, до своего падения дьявол тоже был ангелом... Я верю Толстому...

Исидор встал и пересел на свои нары.

СВИДАНИЕ

Длинная, узкая комната. Длинный, узкий стол. Длинные, узкие скамейки. По одну сторону стола садятся заключенные, по другую — их родные, близкие, родственники. У обоих концов стола, словно тамада и его заместитель, стоят надзиратели. Время от времени они торопят сидящих у стола людей — будет, будет, мол, кончайте! Разговор, начинавшийся с шепота, постепенно становится все громче. Заключенные волнуются, что-то объясняют, о чем-то спрашивают, родные согласно кивают головой, обещают выполнить все поручения, руками утирают выступившие на глазах слезы.

Наконец настает время прощания. Свидание окончено. Посетителей выпроваживают в другую комнату. Заключенных по одному разводят по камерам.

Как и все в тюрьме, свидание имеет свое время и свои порядки. Поэтому я был очень удивлен, когда надзиратель вызвал меня на свидание. Но еще более удивительно было то, что, введя меня в пустую комнату свиданий, надзиратель куда-то ушел.

Я присел к столу и уставился на противоположную дверь. Никто не входил. Ожидание становилось невыносимым. Я невольно пощупал свой пульс и сам же рассмеялся: к чему было проверять пульс, когда сердце в груди колотилось так сильно, что его, наверно, слышал надзиратель по ту сторону стены.

Но вот дверь открылась, и в комнату вошла мама.

На ней был старый, но хорошо сохранившийся коверковый плащ, на шее — синяя косынка в белую крапинку. В руках она держала небольшой черный саквояж и термос.

Мать не вскрикнула, не заплакала, не бросилась обнимать меня. Она спокойно подошла, поставила на стол термос, положила саквояж и тихо сказала:

— Здравствуй, сынок!

— Здравствуй, мама!

Потом мать раскрыла саквояж, достала пачку сигарет. И только когда она, чиркнув спичкой, поднесла огонь к сигарете, я увидел, как у нее задрожали рука и подбородок.

— Только не плачь, мама! — попросил я.

— Не буду, сынок. Нет у меня больше слез... Высохли...

Мать закурила. Потом взяла свой саквояж и термос и пересела ближе ко мне.

...Боже мой, о скольком мне надо поговорить с этой женщиной! Как много мне нужно рассказать, объяснить, попросить у нее! Как мне хочется припасть к ее груди, вымолить прощение за боль, которую я ей причинил, и плакать, долго плакать, плакать до тех пор, пока и у меня, как у нее, не высохнут слезы!.. Как я мечтал о встрече с ней! А теперь, когда она, моя мать, сидит передо мной, я, словно парализованный, не в состоянии сдвинуться с места, подойти к ней, обнять ее красивую, седую голову...

Видимо, поняв мое состояние, мать под села ко мне совсем вплотную, быстро оглядевшись, сняла металлическую крышку с термоса, поставила ее на стол и дрожащей рукой налила мне горячего пенящегося кофе.

Крепкий аромат кофе ударил мне в нос, и у меня закружилась голова. С жаждой бедуина, проблуждавшего месяц в пустыне, набросился я на кофе. Горячий стаканчик обжигал пальцы, губы, язык, но я словно бы



ничего не чувствовал. Это было блаженство, описать которое нельзя. Пока я, захлебываясь, глотал ароматный напиток, мать молча гладила меня по голове своей теплой рукой. Для нас в эти мгновения не существовало ничего на свете.

Потом мы обрели дар речи.

— Налить еще? — спросила мать.

Я кивнул головой.

Теперь я пил не спеша, наслаждаясь давно забытым вкусом кофе.

— Хороший кофе?

— Отличный!.. Мама, как тебе удалось добиться свидания? Разве следствие закончено?

Я весь напрягся в ожидании ответа. Если, не дай бог, следствие закончилось на этом этапе, я пропал! Ведь мне пока не удалось доказать свою невиновность!

— Нет, следствие продолжается, но к тебе, наверно, придет новый следователь... А тебя остригли, да? — улыбнулась она.

— Мама, откуда тебе известно про нового следователя?!

— Была у министра.

Я оторопел.

— У какого министра, мама?!

— У министра внутренних дел, у какого же еще! Господи, что я слышу! Она была у министра!.. А ведь я видел это во сне!..

— Когда, мама?!

— Четырнадцатого июня.

Я чуть не вскрикнул. Какое совпадение! Рассказать ей мой сон? Не успею, свидание скоро кончается. Да и поверит ли она?

- Мама, это был я!
- Что?
- Министр, с которым ты разговаривала, — это был я!
- Молодец, сынок! У тебя хорошее настроение! — улыбнулась мать.
- Да нет же, мама, я не шучу!
- А знаешь, он, между прочим, чем-то похож на тебя. Но не могла же я сказать министру, что он напоминает моего сына-арестанта... Я дала ему слово, что узнаю у тебя всю правду. Слышишь? Всю правду! Не подведи меня, сынок!
- В голосе матери было столько мольбы, что у меня сжалось сердце и к горлу подступил горький комок.
- Мама, я и Ростом невиновны! Говорю тебе сущую правду! И Харабадзе подтвердит это!
- Гм, Харабадзе... Этот медведь Ростом Амилахвари так его обработал, что вряд ли теперь от него дождешься вразумительного ответа...
- Ты видела его?
- Смеется, бормочет что-то... А иногда начинает кричать, что ему кто-то затыкает рот...
- И в тот вечер он говорил то же самое...
- Адвокат просит твою характеристику из университета.
- Сходи к декану.
- Была уже...
- И что же?
- Направил меня к председателю месткома.
- Почему?
- Характеристики, говорит, — дело профсоюзной организации.

- А тот что?
- Отказал.
- Почему?
- Потребовал справку о том, что ты не убийца.
- Где же ты могла взять такую справку!
- В том-то и дело!
- Ну и как?
- Взяла я твою характеристику у соседей. Не принял: говорит, нужна круглая печать.
- Вот идиот! А я еще избирал его председателем!
- Вот именно...
- Как же нам быть, мама? — спросил я с отчаянием. — Характеристики нет, Харабадзе невменяем...
- Говорят, есть какое-то лекарство «Ангинин», японское...
- Ну?! — обрадовался я.
- Что ну... Два флакона всего на всю Грузию... Один уже отдали кому-то, другой хранят для кого-то...
- А у спекулянтов?
- Не знаю... Если даже найдется, цена такая, что...
- Мама! Дорогая мама! Харабадзе нужно вылечить во что бы то ни стало!
- Может, не стоит?
- Мама, ты не веришь мне?!
- Я не потому, сынок... А что, если этот Харабадзе свалит все на вас?
- Не может быть этого! Мама! Продай все, но лекарство достань! Иначе мы погибли!
- Ты думаешь, родня Харабадзе не ищет этого лекарства? Нет его!
- Продай все, мама!
- Что мне продать, сынок?

Да, действительно, что ей продать? С тех пор, как я помню свою мать, мы только и делали, что продавали...

— Займи, мама! Выйду отсюда, расплачусь... С процентами!

— Хорошо, сынок!

— Пойди к кому-нибудь, попроси!

— Пойду, сынок!

— Сходи и к этим... К родне Харабадзе. Растолкуй им, что это он, болван, он один во всем виноват! Он швырнул бутылку!

— Растолкую, сынок!

— Скажи им, пусть как хотят вылечат его! Иначе убью, зарезу, как собаку, этого мерзавца! Для меня теперь все равно!..

— Скажу, сынок!

— Я не хочу считаться убийцей!

— Знаю, сынок!

— Скажи всем — следователю, министру, судье, родне Харабадзе, врачу, свидетелям — тем восьми мужчинам, пусть вспомнят, как все было! Пусть верят мне! Или я убью всех и себя тоже!

— Скажу, скажу, сынок!

— Что ему нужно было?! Сидели мы, никого не трогали! Кто его звал?! Чего он к нам привязался?!

— Не знаю, сынок! Успокойся, дорогой, все я сделаю, все! Успокойся, родной!

— Нет, нет, нет!

Я был на грани истерики. Мать вскочила, обняла меня за плечи.

— Успокойся, мой мальчик! Я сделаю все, что в человеческих силах! Если это будет нужно, я пойду с протянутой рукой! Я буду молить за тебя бога, и если он

потребует от меня жертвы, я принесу на его алтарь свою жизнь. Все я сделаю, сын мой! Я не покину тебя! Я на коленях вымолю у судьбы разрешения последовать за тобой, куда бы тебя ни выслали! Или же я совершу преступление, и тогда мы будем вместе! Не бойся, мой мальчик!..

Я опустился на колени, припал головой к материнским коленям, стал осыпать ее руки поцелуями.

— Прости меня, мама! Прости!..

— Молчи, сынок! Это я должна просить у тебя прощения, — пришла, разбередила тебе душу... Но ничего, все будет хорошо!

Вошел надзиратель.

— Время свидания истекло, — проговорил он, не глядя на нас.

— Еще минуту, сынок, одну только минуту! — взмолилась мать.

Надзиратель молча вышел.

— Встань, мой мальчик! Успокойся! Ну-ка, посмотри на меня! Помни: я сделаю все, что обещала. Не бойся!

— Спасибо, мама!

— На днях тебя вызовет новый следователь.

— Спасибо, мама!

— Не груби ему!

— Да, мама!

— Будь с ним вежлив, объясни все спокойно, убеди его!

— Постараюсь, мама!

— А теперь до свидания! Побереги себя! — Мать встала.

— Хорошо, мама!

— Подойди ко мне...

Я подошел к маме. Она обняла меня и разрыдалась. Слезы, сбегая по ее щекам, стекали капля за каплей с подбородка. И мне было отраднo глядеть на плачущую мать, у которой нашлись еще слезы для своего непутевого сына.

Я усадил маму. Она положила руки на стол, уткнулась в них лицом и продолжала плакать, вздрагивая всем телом.

Прошла минута, другая... Надзиратель не появлялся. Теперь я подошел к двери и забарабанил в нее кулаками. Тотчас же вошел надзиратель.

— Уведи меня, ради бога! — попросил я.

Надзиратель взглянул на мать. Она вытерла слезы платком, кивнула ему головой и благодарно улыбнулась.

Мы вышли из комнаты, молча миновали коридор. У крана во дворе надзиратель остановился, напился воды, утерся рукавом, потом обернулся ко мне:

— Пей!

Пить мне не хотелось, но я понял, что не хотелось пить и надзирателю и остановился он из-за меня.

— Умойся, парень, — продолжал надзиратель, — а то неудобно, глаза у тебя красные...

Я плеснул себе в лицо холодной водой и, почувствовав облегчение, улыбнулся надзирателю.

— Мать? — спросил он.

— Мать! — ответил я.

— Я так и понял: улыбка у вас схожая.

— Да.

— И тебе не стыдно?

Я удивленно взглянул на надзирателя.

— Чего уставился? Не стыдно, говорю, тебе? — повторил он.

Я промолчал и, сложив руки за спиной, как это полагается заключенному, зашагал дальше.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

Вор в тюрьме неприкосновенен, он пользуется абсолютной автономией. Вор не вмешивается в чужие дела, а вмешаться в свои дела не позволит и по-давно. Поэтому, как ни парадоксально, но сидеть в тюрьме с ворами приятнее, чем с какими угодно другими людьми любого образования, профессий, судеб, характеров, национальностей. Камера, в которой нет воров, напоминает необитаемый остров, где жертвы кораблекрушения влачат жалкое существование и в ожидании спасательного судна поедом едят друг друга. Равноправие в среде воров иной раз вызывает изумление! Вор от вора отличается лишь уровнем образования, что следует объяснить отсутствием в их воровской конституции параграфа о всеобщем обязательном образовании. Впрочем, образование не дает вору равным счетом никакого преимущества: все воры одинаково несчастны. Для них не существует понятия о социальном, имущественном или национальном цензе. Вор есть вор, будь он из Месопотамии, Танзании или Чохатаури*. Не существует для воров и черного, белого, красного, желтого цветов — все воры одинаково черны. Вор не работает, у него нет профессии, поэтому ворами чуждо

* Чохатаури — районный центр в Западной Грузии.

чувство профессионального соперничества или профессиональной гордости. Единственная профессия всех воров — воровство. Вор может уважать вора за какие-то его выдающиеся качества, но это дело сугубо личное. Воры в тюрьме едят вместе, делятся последним куском, во всем поддерживают друг друга. Насколько вор на воле труслив и ненадежен, настолько он смел и верен товарищу в тюрьме. Тюрьма — стихия воров, здесь они чувствуют себя привольно. Вот почему воры не участвуют в уборке камеры, и вот почему в составленном Гоголем графике дежурства значатся все наши фамилии, кроме Девдариани и Гулояна.

Сегодня дежурят Шошиа и Мебуришвили. Они уже вынесли парашу, наполнили водой бак, и теперь Шошиа, недовольно бурча, подметает камеру. Я и Тигран играем в шахматы, остальные сидят на нарах, подобрав ноги.

— Что, я вор хуже других? Я украл меньше других? — повысил голос Шошиа.

Я знаю, куда он клонит, но молчу...

— Да, да, чем я хуже других? — повторил громко Шошиа, ткнув метлой в наши ноги.

Тигран так и застыл с ферзем в руке. Он внимательно поглядел на меня, потом на Шошиа.

— Это ты о ком, уважаемый Шошиа?

Не обратив на него внимания, Шошиа продолжал:

— Вор ты, Мао Цзэ-дун или Александр Македонский, чистота нужна всем! Да! И я вовсе не обязан подбирать мусор за другими! Где справедливость?!

— Заза-джан, ты не знаешь, о ком распространяется этот гражданин? — спросил Гулоян меня.



— Играй, ради бога, а то выпустят меня и партия останется неоконченной.

— Хаши* восемь! — сделал ход Тигран.

— Кебаби** четыре! — ответил я.

— Конечно, тебе смешно! — накинулся на меня Шошиа.

— Я-то при чем, Шошиа, ведь я отдежурил вчера? — удивился я.

— Я не о тебе... Есть тут некоторые...

— Я, что ли? — спросил Тигран.

— Вот именно! Ты и Девдариани! — не вытерпел Шошиа.

— Так в чем же дело, дорогой Шошиа, говори!

— Да отстань от них, Шошиа! — крикнул Мебуришвили. — Знаешь зедь — тюрьма принадлежит ворам. Не так ли, уважаемый староста?

— Тебя еще не хватало! — огрызнулся Гоголь. — Сказано вам: вор — хозяин в тюрьме! А спросишь еще раз, вырву у тебя язык, и конец делу!

— А что я такого сказал? — стал оправдываться Мебуришвили. — Сказал, что тюрьма принадлежит им...

— Кому это — им? Почему — им?! — взвизгнул Шошиа. — Работать, убирать, парашу таскать, воду носить — не им, а жрать им?!

— Шошиа, не говори только, что кто не работает, тот не ест! Оскандалишься! — предупредил я.

В камере захохотали.

— Вот еще! — не унимался Шошиа. — В тюрьме хозяева — они, в... в этом... — Шошиа запнулся.

*, ** Хаши, кебаби — национальные блюда. Гулоян и Накашидзе имеют в виду под хаши «л» и под кебаби «к».

— Так, так... Где еще? — спросил Тигран.

— А что, мало разве тюрьмы? В таком случае, пожалуйста, пусть отделятся от нас и создают свою «Автономную республику воров Советского Союза!» — нашелся Шошиа.

— А ты забыл, что я и Лимон — воры? — спросил Тигран и смахнул с доски шахматные фигуры.

— Люди! — повернулся Шошиа к нарам. — Спросите его, чем они нас попрекают? Чем они в конце концов отличились? В чем он и Лимон нас обошли? Один убил человека из-за червонца, другой на крытом рынке украл у крестьянина сыр! Да знаешь ли ты, Гулоян, что украденных мною денег вся твоя родня не пересчитает за десять лет! Миллион девятьсот тысяч! Это то, на чем я попался! А на чем не попался — считай еще десять лет! Теперь скажи мне — кто из нас украл больше: я или ты с Лимоном? А? И чем вы лучше меня? — Шошиа швырнул метлу на пол и, подбоченившись, уставился на Гулояна.

— Шошиа, — сказал побледневший Тигран. — Я знал, что ты — вонючий чирей, но только не знал, когда ты лопнешь! — Он подошел к своему тюфяку, быстро вспорол его и достал парикмахерскую бритву.

В камере нависла зловещая тишина. О существовании бритвы не подозревал никто из нас. Онемевший Шошиа попятился назад, прижался спиной к стене и застыл.

Быстро поднявшись с нар, Девдариани преградил дорогу Тиграну.

— Ведешь себя, как сопляк! Отдай бритву!

— Пусти, Лимон, хочу увидеть цвет его гнилой крови! — попросил Гулоян.

— Отдай, говорю, бритву!

Гуляян протянул Лимону бритву и уселся напротив меня. А Шошиа, воспользовавшись моментом, забрался на свою галерку и затих.

Девдариани сложил бритву и бросил ее на нары Исидора:

— Спрячь, дядя Исидор!

Потом он обернулся к Шошиа:

— Гоголадзе!

Перетрусивший Шошиа молчал. Сейчас он напоминал загнанную на дерево кошку, которая с ужасом глядит на рычащего под деревом пса, готового в любой миг растерзать ее в клочья.

— Гоголадзе! — повторил Девдариани. — Я скажу тебе, чем я лучше тебя... Во-первых, тем, что я — Девдариани... Во-вторых, тем, что я — человек, а ты обезьяна... В-третьих, вот чем: если бы вор сумел раздобыть миллион рублей, он никогда больше не стал бы воровать! А вы? Что делаете вы? У твоего компаньона Гварамадзе в земле, под деревом, нашли миллион рублей. Разве это человек? Нет, это — плод гнилого семени! И ты, наверно, такой же! И ты, наверно, зарыл деньги в землю, и когда ты умрешь, твои дети не найдут их. И твои дети наплюют на твою могилу. Понял?

— Почему, почему? — захныкал Шошиа.

— Потому, что ты — плод такого же гнилого семени!.. Зарывать деньги в землю!.. Неужели не было у тебя нуждающегося родственника? Или ты никогда не встречал на улице нищего? Сходил бы в церковь, поставил бы свечку в благодарность за то, что тебя еще не поглотила земля!.. Деньги в земле!.. У, паразиты паршивые!.. И вы еще осмеливаетесь сравнивать себя с на-

ми?! Не видать тебе воли, ты недостоин ее! Ты должен сдохнуть здесь, у окна, как застрявший в заборе боров!

— Вот и сдыхаю! — пустил слезу Шошиа.

— Ну и сдыхай! Туда тебе и дорога!.. Разве вы люди? Алчные, ненасытные животные! Всего вам мало! Сегодня — миллион, завтра — два, послезавтра — три!..

— Я ворую у государства, а вы грабите бедных людей! — постарался оправдаться Шошиа.

— Не бедных, а гнилых, вроде тебя, подонков!

— Я тружусь!

— Трудисься? А минуту тому назад говорил — «украл»!

— Допустим, я украл. Но ты-то почему воруеть у меня?

— Не тот вор, кто крадет, а тот, кто концы прячет!

— Говорю тебе: я ворую у государства. Это — дело другое!

— А что, государство, по-твоему, не нуждается в деньгах? Или государство — дойная корова? Как еще оно держится, когда такие вот, как ты, паразиты день и ночь сосут из него кровь! Сукин сын я буду, если вру: мне жаль государство!

Не знаю, что думал в эту минуту Девдариани, но мне, честное слово, и впрямь стало жаль государство, когда я представил себе, как из него сосут кровь Шошиа и его дружки.

— Ладно, ладно, Девдариани, не хватало еще мне надеть траур и оплакивать бедное государство! Нашел тоже беззащитного сиротку! — отбрехнулся Шошиа.

— И куда, для кого вам столько денег! Стены, что ли, оклеиваете деньгами?



— Для детей, Лимон, для детей! — запричитал Шошиа.

— Для детей! Знаю я вас! Растите «настоящих грузин», да? Интеллигентов растите, да? Английский, музыка, танцы... Дача в горах, дача на море, дача в лесу, машина, диплом, теплое местечко в Тбилиси, особняк... А что же остается делать в жизни им самим, а? Кому нужны такие импотенты? Чтоб вам всем подавиться вместе с вашими бездельниками!.. Гм, он еще упрекает Тиграна! Тигран убил одного человека и ответит за это! А ты? Ты с лаской, с улыбкой, без крови душишь тысячи людей и не желаешь отвечать?! Камеру прибрать не желаешь! Парашу вынести не желаешь! У, гадина! Сойди только вниз, и я суну тебя головой в эту самую парашу, обезьяна ты паршивая!

Девдариани перевел дух.

— И ты недалеко ушел от меня! — проворчал Шошиа. — Тоже мне, ангел нашелся!.. Золотое семя!..

— Я и не выдаю себя за ангела или за плод золотого семени! Я умру, и на этом прервется весь мой род. А тебе мало двух ублюдков, ты еще собираешься жениться на какой-то Сирануш, чтобы жрать толму и плодить новых ублюдков!

— И женюсь! — выкрикнул Шошиа так поспешно и энергично, словно Девдариани вот-вот собирается отнять у него эту самую Сирануш.

Терпеть дальше было нельзя. Натянутый до предела общий нерв должен был лопнуть или ослабнуть... Последние слова Шошиа спасли положение: нерв ослаб, и в камере раздался смех...

— Ва, я думал — они перегрызут друг другу горло... Какое там! Сидят и смеются! Чему вы смеетесь?— про-

бормотал недовольный финалом Тигран, заваливаясь спать. Девдариани вернулся на свое место. Я подсел к Исидору.

— Слыхали, дядя Исидор? Это не Лимон, а сам Марат!

Исидор утвердительно кивнул головой, на миг призадумался, затем поднял руки и патетически произнес:

— Несмотря на кучу недостатков, горячие сердцем, светлые духом и благородные по натуре наши соотечественники были бы способны чудеса творить, если бы их не охлаждали и не успокаивали вечные снега Кавкасиони...

Сентиментальный (фр.) — чрезмерно чувствительный, слезливый.

Гуманизм (лат.) — мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству.

Не знаю, какое по счету место занимает слово «гуманизм» в ряду первых библейских слов или в каком тысячелетии после появления на Земле человека было произнесено оно впервые, но одно для меня бесспорно: первое гуманное деяние было совершено в райском саду господом-богом, когда он изгнал оттуда набедокуривших Адама и Еву и тем самым избавил их от кошмара вечного беззаботного и обеспеченного житья.

Тогда этот поступок всевышнего многими, в том числе и самими Адамом и Евой, был расценен как проявление неслыханной жестокости. Теперь же, расценивая указанное событие с позиций второй половины нашего, двадцатого века, я вижу в нем акт беспримерного чело-



веколюбия и сострадания к ближнему. Как же иначе назвать действие творца, даровавшего Адаму и Еве радость земной жизни, наполнившего каждую их клетку кипучей кровью, вдохнувшего в их усыпленную райскими напевами и гимнами душу сладость житейских треволнений и страстей?!

За этот подлинный гуманизм, за это великое человеколюбие не раз и не два воздавал я хвалу господу богу нашему от лица многочисленных и благодарных потомков Адама и его супруги...

Что же касается сентиментального гуманизма, понятие это возникло позже, его, как и бога, выдумали люди, и, что действительно потрясаяще, сие детище человеческих взаимосвязей родилось в... тюрьме...

В тюрьме жалеют всех и вся. Гулоян, например, весь день проплакал над горькой судьбой маленького героя рассказа Коркия «В соляной колыбели».

— Разве это дело? Как наши не постыдились взять в армию ребенка? Как эти сволочи — белогвардейцы посмели стрелять в него? Куда смотрели люди, когда парнишка упал с коня? Не могли помочь ему? Вот таковы вы, грузины!

— Тигран, рассказ ведь не про грузин, и потом... Тогда было такое время... Война...

— Э, брось, ради бога! Всех, кто там был, следовало бы поставить к стенке! А ну лежи пятнадцать лет в соленой воде, посмотрю, как ты запоешь!..

Тигран плачет — Тигран, который, по собственному признанию, убил тонетского лесничего, даже не моргнув глазом.

В тюрьме жалеют и покойников: Лаврентий Павлович Мебуришвили, отставной (или разжалованный) май-

ор, бывший директор кладбища, уверяет нас, что он трижды за день обходил могилы, поливал молодые саженцы на одних, проливал слезы над другими, а с надгробий знакомых покойников стирал пыль — вот этим шелковым платком, который он прихватил с собой в тюрьму.

— Эй, ты, кладбищенский директор, — обращается к Мебуришвили Шошиа, — почему ты не говоришь о том, как у тебя обнаружили тридцать фальсифицированных могил, да еще с надписями, или как ты хоронил покойника на покойнике и безбожно обирал их близких?

— Фальсифицированные могилы, дорогой мой, я держал не для себя. Зачем мне тридцать могил? Старался опять-таки для друзей, для вас старался!.. Все мы смертны... Всякое будущее становится настоящим, затем прошедшим, и это прошедшее — наше будущее... — объясняет Мебуришвили.

— Мудришь что-то, директор! Ничего я не понял! — говорит Шошиа.

— Поймешь, когда понесут тебя, окоченевшего, на кладбище и опустят в ту самую фальсифицированную могилу! — успокаивает его Мебуришвили.

— Люди! — вопит Шошиа. — На каком основании этот человек торгует фальсифицированными могилами?

— Слушай, — прерывает его Тигран, — а что это значит — фальсифицированный?

— Фальсифицированный — это означает липовый. Могила есть, есть надпись: «Здесь покоится вор Тигран Гуляян, № 23041». А на самом деле могила пуста. Понимаешь?

— Получается, он живых хоронит? — беспокоится Тигран.

— Приблизительно так... Таких липовых могил у него тридцать, их он и продавал, взятки брал... — объясняет Шошиа.

— Не верьте ему! Что он понимает — жалкий неуч! При чем тут взятка? Что вы называете взяткой? Если я в тяжелую минуту окажу человеку услугу и тот отблагодарит меня, — это, по-вашему, взятка? А сколько я уступил могил бесплатно? Вот, скажем, придет ко мне кто-нибудь из вас и попросит хорошее место для могилы, что же, отказать ему, да? — удивляется Мебуришвили.

— М-да... Страшно, дико, но гуманно! — произносит глубокомысленно Чейшвили, глядя куда-то вдаль сощуренными глазами.

— Брось, Мебуришвили! Расскажи свои сказки другим, дураков здесь нет! Повесил на шею крест и хочет прослыть святым! Гнусный, неисправимый и бессовестный взяточник — вот кто ты такой! — вмешался Чичико Гоголь. Ему нет дела до формулы Чейшвили: «Страшно, дико, но гуманно». После инцидента с Гамцемлидзе Гоголя шесть суток продержали в карцере, и с тех пор он старается быть со всеми вежливым, но скрыть свое отвращение к Мебуришвили он не в силах.

— Гоголь, не кажется ли тебе несколько неудобным, что ты, преступник, поносишь меня в присутствии людей, ни один из которых не лучше меня? — Мебуришвили, хорошо помнивший, как Гоголь избил Гамцемлидзе, произнес эту тираду вежливо и сдержанно.

— Мебуришвили, может, мне встать? — угрожающе спросил Девдариани.

— Воров я не имел в виду! — быстро поправился Мебуришвили.

— Врешь! Здесь нет человека подлее тебя, Мебуришвили! — выпалил Гоголь.

— Почему так, Гоголь? Может, ты путаешь меня с кем-нибудь? — повысил голос Мебуришвили.

— Нет, не путаю! Это ты, товарищ Мебуришвили, бывший член Коммунистической партии, наживался на горе несчастных людей, торговал могилами, а теперь повесил на шею крест, сидишь с нами и втихомолку жрешь по ночам! Что, я ошибаюсь?

— Не прикидывайся простачком, Гоголь! Для меня, как и для тебя, партийный билет на определенном этапе был средством получения хлебной карточки! А что у меня висит на шее — крест или кирпич, это мое личное дело!

— Нет, не только твое! — возразил Гоголь.

— Чье же еще? — спросил иронически Мебуришвили.

— Хотя бы мое! — ответил Гоголь.

— Слушай, кто тебя назначил посредником между мною и партией? — взорвался Мебуришвили. — Нашелся борец за идеи марксизма-ленинизма! А я, между прочим, в свое время, пока меня не погубили, был настоящим партийцем!

— Это как понять, Мебуришвили, как тебя погубили? Запретили брать взятки, да?

— Я не был рожден взяточником!

— Конечно, ты всегда был безгрешным ангелом!

— Да, да!

— Знаю! Был до того честным, что даже партийные взносы платил со всего заработка, включая взятки!

— Так же, как и ты!

— А вот и врешь, Мебуришвили! Для меня партбилет никогда не был хлебной карточкой, потому что я

беспартийный! И идеи марксизма-ленинизма меня никогда не занимали! Меня беспокоит другое: ты, продавший свою партию и свой партбилет за тридцать липовых могил, что же ты способен сделать со мной, со всеми нами? Ведь продашь нас, как козлят на базаре!

Мебуришвили молчал.

— Ты погубил собственную душу, а теперь хочешь осквернить и святой крест?

— Свобода вероисповедания мне дана конституцией!

— И свобода торговать богом и совестью тоже?

Гоголь двинулся на Мебуришвили. Тот стал испуганно водить вокруг глазами, ища что-нибудь тяжелое, и, не найдя ничего более подходящего, схватил стул и занес его высоко над головой:

— Не подходи! Изувечу!

— Гоголь, отстань от него! — вмешался Девдариани.

— Не суйся, Лимон! Я ведь не лезу в ваши воровские дела! — отрезал Гоголь и, повернувшись к нам, предупредил: — Если кто сунется — убью!

— Не приближайся ко мне! — взвизгнул Мебуришвили, швырнул на пол стул и бросился к двери. Гоголь настиг его, схватил своей огромной лапой за шиворот и рывком повернул к себе:

— Достань крест!

Мебуришвили повиновался.

Гоголь положил крест себе на ладонь, с минуту глядел на него, потом спросил Мебуришвили:

— Ты слышал про десять заповедей? Заповедей Христа!

— Здесь не духовная семинария, Гоголь! — прохрипел Мебуришвили.

— Говори! — приказал Гоголь, вскинув над головой кулак.

— Не убивай! — сказал Мебуришвили дрожащим голосом.

— Не бойся, не убью, но это — пятая заповедь. Начинай сначала!

— Не прелюбодействуй!

— Это — шестая! Говори по порядку!

— Не помню.

— А евангелий сколько, помнишь?

— Чет... Четыре. Четвероглав, — неуверенно произнес Мебуришвили.

— Правильно. Четвероглав, — сказал Гоголь и, развернувшись, закатил Мебуришвили увесистую оплечуху. — Это раз, от имени преданной тобою партии!

Это — два, от имени преданного тобой бога! — Гоголь во второй раз ударил Мебуришвили и сорвал с его шеи крест. — Ты недостойн носить его!

Это — три, от имени покойников твоего кладбища! — От третьего удара Мебуришвили пошатнулся.

А это от меня. Получай! — Огромный кулак Гоголя опустился на голову Мебуришвили. Тот жалобно замычал и упал на колени. Гоголь положил крест рядом с ним и, подойдя к двери, постучался.

— Простите, уважаемые, — обратился он к нам, — за причиненное беспокойство, но иначе я не мог! С детства ненавижу подобных подонков! Почему я избил своего директора? Почему я, пожилой человек, заработал срок за хулиганство? Потому, что мой директор — такой же подонок, как этот мерзавец!

В камеру вошел надзиратель.

— В чем дело? Кто стучал? — спросил он.

— Унеси, начальник, этого типа, а потом забирай меня, я его избил! — ответил Гоголь и сам же стал помогать надзирателю.

— Произвол! — констатировал Чейшвили, когда Гоголя увели.

Гуманизм гуманизму рознь.

Помню, до моего ареста, как-то в воскресный день я и мой приятель Нодар пешком отправились в Бетаниа*.

По дороге повстречался нам нагулявший на отдыхе весу бесхозный осел. Он шел, беззаботно помахивая ушами.

— Нарвался бы он вместо нас на волка, помахал бы тогда ушами! — сказал я, провожая осла взглядом. Нодар рассмеялся.

— Ты чего?

— Вспомнил смешную историю.

— Какую?

— А вот послушай: в прошлом году мои знакомые ребята-археологи отправились в экспедицию. По дороге купили осла. Прибыли на место, сняли с осла поклажу, раскинули палатку, устроились, и тогда выяснилось, что осел им больше не нужен.

— Что с ним делать? — спросил один.

— Отпустим! — говорит другой.

— Что ты, жалко осла! Его же волки загрызут! — вмешался третий.

* Бетаниа — памятник древнегрузинской церковной архитектуры в окрестностях Тбилиси.

— Ну, тогда оставим здесь! — посоветовал четвертый.

— А кто за ним будет ухаживать? — возразил пятый.

— В таком случае убьем его! — решил шестой.

— Чем? У нас ведь нет ружья! — спросил первый.

И вот что они придумали: привязали к ослу заряд динамита и подожгли фитиль. Осел погиб от взрыва, но зато его не терзали волчьи зубы. Страшно, дико, но гуманно...

...В тюрьме жалеют даже насекомых. А Шошиа, например, убежден, что от изобретения дуста пострадало и само человечество. Дуст истребил клопов и блох, которые высасывали у людей излишнюю и негодную кровь и тем самым способствовали регулированию кровообращения в человеческом организме. К чему привело истребление этих насекомых? Участились такие заболевания, как гипертония, атеросклероз, лейкемия, инфаркт миокарда, инсульт, стенокардия и многие другие, о которых мы пока даже не подозреваем.

— Разве прежде умирали от таких болезней? — спрашивает нас Шошиа.

Мы не знаем, что ему ответить, и поэтому молчим.

— Ну, вот, значит, я прав! — радуется Шошиа. — То же самое произошло в Китае. Истребили воробьев, и что же? Пропал урожай риса! Что, не так?

Мы молчим. Но вдруг берет слово Тигран:

— Хорошо, блохи там, воробьи, — понятно. Но вши? Какая польза от вшей?

Тут уж Шошиа умолк: он не уверен, есть ли человеку польза от вшей...

Да, в тюрьме жалеют все и вся, кроме собственных нервов.

...На этот раз вызвали Гоголя с вещами. Мы все любили Гоголя, поэтому после его ухода в камере надолго воцарилось тягостное молчание. Лишь перед сном его нарушил Исидор:

— Если мы не побережем свои нервы, государству не останется что делать: мы сами загоним друг друга в гроб! — сказал он и отвернулся к стене.

ОПЯТЬ — А ЕСЛИ!!

Мать оказалась права. Спустя неделю меня вызвал новый следователь.

Он был чуть моложе Гагуа. При моем появлении в кабинете он не поздоровался со мной, не предложил сесть и не угостил папиросой. Все это проделал я сам — приветствовал следователя, сел на стул, взял сигарету из лежавшей на столе пачки «Иверия» и, закинув ногу на ногу, закурил.

Почему я вел себя так нахально, затрудняюсь сказать. Быть может, хотелось дать почувствовать новому следователю, что я ни в чем не виноват и никого не боюсь. А может, хотелось подчеркнуть, что я очень, очень устал, на все махнул рукой и что мне совершенно безразлично, что они со мной сделают. Я помнил просьбу матери — держаться вежливо и тем не менее вел себя вызывающе. Следователь смотрел на меня с насмешливой улыбкой. Было ясно, что примитивный мой ход, каких он видел тысячи на своем веку, на него не произвел

ровным счетом никакого впечатления. И когда я понял это, мне стало неловко и я выпрямился на стуле.

— Моя фамилия Хеладзе, — сказал следователь, — ваше дело для дополнительного следствия передано мне.

— Очень приятно! — улыбнулся я.

— Почему приятно? — спросил он.

— Не знаю.

— Зачем же говорить, что приятно?

— Так, из вежливости.

— Это хорошо.

Наступило молчание. Хеладзе не заговаривал со мной, а мне тем более сказать было нечего. Сигарету я выкурил до конца, взять вторую постеснялся. Хеладзе понял это, протянул мне одну и взял другую сам.

— Спасибо! — поблагодарил я.

— Пожалуйста. Прикури!

— Прикурите сначала вы!

— Я не курю. Уже лет пять... Хотя и тянет очень...

— Как только выйду отсюда, я тоже брошу курить!

Хеладзе улыбнулся. Я понял, что сболтнул глупость, но что мне оставалось делать? Когда догорела дотла вторая сигарета, я не выдержал.

— Начнем?!

— Что начнем?

— Дело!

— Дело давно уже начато.

— Ну, допросите меня!

— Хочешь сказать что-либо новое?

— Нового ничего.

— А старое здесь записано слово в слово.

— Зачем же тогда вы пришли сюда?

— Так, просто. Хотел поглядеть на тебя и на Амилахвари.

— Для этого не стоило приходиться, у вас же есть наши снимки! — выпалил я и почувствовал, как гаснет слабый луч надежды, вспыхнувший было во мне в начале встречи со следователем.

Хеладзе раскрыл папку, долго всматривался в бумаги, потом поднял на меня глаза и тихо сказал:

— На снимке ты выглядишь убийцей, Накашидзе! Мне верить снимку?

Наши взоры встретились. Я долго крепился, стараясь выдержать его пронизывающий взгляд, но не сумел и отвел глаза.

Когда я снова взглянул на следователя, лицо его выражало не торжество победителя, а лишь грустное недоумение.

— Ну, так как мне быть, Накашидзе?

— Как вам подскажет совесть.

— А что мне делать вот с этим? — И он положил ладонь на папку.

— Что найдете нужным...

— В твою пользу, Накашидзе, говорят лишь три факта.

Впервые за все эти месяцы я услышал, что, оказывается, что-то говорит и в мою пользу!

— Что же? — почти крикнул я.

— Во-первых, показания твои и Амилахвари абсолютно идентичны, возможности же для предварительного сговора, судя по материалам следствия, у вас не было. Во-вторых, отпадает предъявленное вам обвинение в попытке присвоения тысячи пятисот рублей, принадлежащих пострадавшему Харабадзе. Буфетчик пока-

зал, что у Харабадзе денег при себе не было, но он доверял ему как старому клиенту. В-третьих, Амилахвари взял вино на себя. Вот его собственное признание. Читай.

Дрожащей рукой я взял показания Ростома и стал их читать. Это была неслыханная клевета на самого себя, изложенная с убийственной убедительностью.

— Неправда! Амилахвари терзают угрызения совести, он чувствует себя виновным передо мной, потому что это он потащил меня в ресторан и от его удара лишился речи Харабадзе — единственный свидетель, который может доказать нашу непричастность к убийству Соселия. Вот почему теперь Амилахвари берет вино на себя! Он хочет спасти меня, понимаете? А убийца — это Харабадзе, Харабадзе, Харабадзе! — Я изорвал показания Ростома и швырнул обрывки бумаги на стол. — Пишите, пишите то, что говорю вам я! Это — сущая правда! А нет, так отстаньте от меня! Делайте со мной, что хотите! Плевать я хотел на ваше следствие, на вашу справедливость, на ваш кодекс и на ваш гуманизм. Пишите: я убил того человека, хотя следовало прежде убить эту свинью Харабадзе! Не успел! Но ничего! Выйду когда-нибудь отсюда — прикончу его, если он сам до того не сдохнет! А вы! Вы должны награждать, премировать нас, должны давать нам медали, ордена, ставить нам памятники за то, что мы избиваем таких подлецов! Но о чем с вами говорить?! Где ваша справедливость?! Пишите, чего же вы ждете? Купили вас? Заткнули глотку золотом? Спешите же выручить Харабадзе! Ухаживайте за ним! Чтоб не простудился, бедняга! Чтоб не осложнилось воспаление мозга у безмозглого кретина! Измеряйте давление три раза в день! Достаньте для него американ-

ское лекарство! Напишите в посольство — погибает, мол, честь и совесть Грузии, наша надежда, наш благодетель! Пишите!.. Пишите, что Накашидзе признался в преступлении, следствие закончено, дело закрыто! Пишите!!!

...Я опустил на стул, дрожа, как в лихорадке. Кровь стучала у меня в висках, глаза горели, во рту пересохло. Все, все вокруг — тюрьма и следователь, толстая папка и показания Ростома, воздух и табачный дым в комнате, возникший в памяти образ Харабадзе и моя собственная несдержанность — все теперь вызывало во мне одно лишь желание умереть, умереть сейчас же, покончить со всем этим мучением, уйти, пропасть, сгинуть к черту, забыть обо всем.

Хеладзе выслушал меня, не поднимая головы, не проронив ни слова. Потом он стал медленно собирать клочки изорванных мною показаний Ростома. Скомкал их, бросил в корзину и лишь после этого проговорил сочувственным тоном:

— Что с твоими нервами, парень? Тебе не жаль себя?

— Простите... — проговорил я.

— Я не мог себе представить, что ты так... Что нервы у тебя в таком состоянии... — Он встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Извините меня, уважаемый, но я не виноват. Вы судите по себе... А здесь, в тюрьме, иные мерки... И с нервами справиться здесь не так-то легко... Я сам считал себя более сильным, — видно, ошибся...

— Это ничего... Главное, ты не оказался подлецом... Другой на твоём месте мог погубить Амилахвари.

— Но ведь он действительно не убивал! Как же я мог оговорить его?!

— Почему — оговорить? В следственной практике есть несколько фраз, при помощи которых можно, не оговаривая другого прямо, тем не менее выручить себя: «может быть», «не помню точно», «не могу сказать наверняка», «кажется, нет, а впрочем...» Понял?

— Я напишу все, что сказал!

— Нет. Я пришел не для допроса... Твоих показаний мне не нужно, — лучше того, как сказал, ты не напишешь...

— Зачем же тогда вы пришли? Скажите мне!

— За помощью и советом, — ответил он, и опять наши взгляды скрестились. Меня пробрала неприятная дрожь. Что это такое? Неужели и он меня обманывает? Где это слыхано, чтоб следователь спрашивал совета у заключенного? И какой заключенный поверит этому? Не бывало еще следователя, который не обещал бы своему подследственному: «Признайся, об этом никто не узнает!», «Признайся, это облегчит твою участь!», «Признайся нам, и мы поможем тебе!»... Об этом известно каждому... Но чтобы следователь спрашивал у заключенного совета, — такое я слышал впервые!

— Я прошу у тебя совета, Накашидзе, — повторил следователь, — как мне поступить?!

И опять мы встретились глазами... Что ж, теперь я буду смотреть на него в упор, до конца! Я выдержу его пронизывающий взгляд, во что бы то ни стало! Я выпытаю у него всю правду! Если он врет мне, если он неискренен со мной, пусть он первый отведет взор!

Я долго, до боли в глазах, смотрел на него, и он выдержал мой взгляд. Хеладзе не обманывал меня!

— Что же я вам могу посоветовать? — спросил я в недоумении.

— Вспомни какую-нибудь деталь... Найди какую-нибудь соломинку, за которую я смог бы ухватиться... Иначе, если судить только по этому, — он ударил рукой по папке, — нас унесет течением. И тебя, и меня...

— Не знаю... Единственное, что может спасти меня, это — честное признание Харабадзе... Если он заговорит и скажет правду...

— Скажет ли?

Я не ответил. Я уже не верил в Харабадзе. Я ни во что уже не верил.

— Вчера я был в больнице, — продолжал как бы про себя следователь. — Харабадзе приходит в себя, но допрашивать его пока невозможно... Через неделю память у него восстановится полностью. Так говорят врачи. Но захочет ли он вспомнить? Признается ли он в убийстве человека? Вот в чем вопрос...

— Да он ведь не знает, что Соселия скончался! Как только он швырнул вторую бутылку, Амилахвари его ударил! Он не мог видеть, что стало с Соселия!..

— Ударил, ударил! Чем же этот Амилахвари его так ударил? В экспертизе сказано — удар тупым предметом!

— Клянусь вам, кулаком! Только кулаком!

— Ничего себе кулак... Значит, говоришь, Харабадзе не знает о смерти Соселия?

— Не знает.

— Но ведь узнает.

— Не должен узнать!

— Как?

— Не говорите ему об этом!

— Обмануть?

— Это не будет ложью! Он ведь не хотел убивать! Просто швырнул бутылку!.. Если он узнает, что эта бутылка стала причиной гибели Соселия, конечно же, он не признается! Умоляю вас, не говорите Харабадзе о смерти Соселия! Умоляю вас!

— Хорошо, успокойся! Не скажу... Если уже не сказали...

Хеладзе призадумался. Потом он взял со стола папку и собрался уходить, но вдруг склонился к столу и схватил телефонную трубку:

— Алло, Миминошвили? Хеладзе говорит. Пошли сейчас же милиционера в скорую, на Камо*. Пусть станет у восьмой палаты и никого к больному Харабадзе не пропускает, ни врачей, ни родных! Понял? Никого! Восьмая палата, Харабадзе... До моего прихода!.. Да!..

Хеладзе положил трубку, потом снова набрал номер.

— Главврача!.. Шалва Михайлович? Здравствуйте, Шалва Михайлович, Хеладзе говорит... Здравствуйте... Шалва Михайлович, я сейчас направил к вам сотрудника... В восьмую, к Харабадзе... Да, да... Прошу вас, не пропускайте к нему никого... До моего прихода... Скоро буду... Прошу вас!.. Спасибо!.. Будьте здоровы... Спасибо!..

Он облегченно вздохнул, вытер рукавом вспотевший лоб и нажал кнопку электрического звонка.

Вошел конвоир.

— Уведите!

Хеладзе ушел, не попрощавшись со мной.

* Имеется в виду улица имени Камо.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ!

Тигран Гулоян вернулся с допроса жалкий, как побитая собака. Не глядя ни на кого, он бросился на нары и закрыл голову подушкой. С минуту мы молчали, потом Чейшвили нарушил молчание:

— Мда... Тяжелая картина...

— В чем дело, Тигран? — спросил я.

— Отстаньте от него, видите ведь, не в себе человек, — вмешался Шошиа. — Начнут теперь: «Ну, что, Тигран?», «Ну, как, Тигран?», «Что он сказал?», «Что ты ответил?», «Вышка?», «Пятнадцать?», «А о чем ты раньше думал, когда убивал?», «Уж лучше бы украл!». Не дадут человеку вздохнуть!.. Ну, что, Тигран? Что сказал следователь?

— Велел послать тебя к чертовой матери!

— Неужели? Меня?!

— Вот именно. Так и сказал: «Передайте, — говорит, — Гоголадзе, который украл миллион с чем-то, чтобы катился он к чертовой матери!» Понял?

— Пошел к чертовой матери он сам, и чтоб разбежались все его подследственные, и провалились все его дела, и чтоб плакать мне скоро над его гробом! — взорвался Шошиа.

— Не знаю... Велел послать тебя, и все! — повторил Гулоян.

— Ладно, Тигран, ты про дело скажи! — вступил в разговор Девдариани.

— Э, какое там дело, Лимон-джан! Опознала меня старушка! Среди восемнадцати человек опознала, стерва!

— Мамочки мои! — простонал Чейшвили.



— Велика трудность — опознать тебя! Голова — что помятый бидон! — съязвил Шошиа.

— Шошиа, мне не до твоих шуток! — предупредил Гулоян. Шошиа прикусил язык.

— А дальше? — спросил Девдариани.

— Что — дальше?! Я говорю: разве так можно, посадили семнадцать русских, светловолосых, один я — армянин, черный, как таракан, и спрашиваете — который здесь Гулоян? Конечно, говорю, каждый укажет на меня!..

— И что?

— Что! Подошла старушка ко мне: «Этот!» — говорит. Я говорю: мамаша, ты подумай как следует, знаешь ведь, губишь меня!

— А она что?

— Знаю, говорит, сынок, но что поделаешь, если я так хорошо запомнила твое лицо!

— Видишь? Что я говорил? — обрадовался Шошиа.

Тигран косо взглянул на него и продолжал:

— Я говорю: мамаша, ты бы подумала еще раз!

— Хорошо, сынок, — отвечает она, — я подумаю еще раз и укажу вот на этого рыжего. Тебе не станет стыдно?

— Ты укажи на него, говорю, — а станет мне стыдно или нет, — это, говорю, не твоя забота!.. Какое там... Ничего не помогло...

— Дальше?

— Что — дальше?! Браво, говорю, мамаша! Молодец! — похлопал ей, и все.

— Что ты теперь собираешься делать? — спросил Чейшвили.

— Собираюсь собрать теплые вещи, что же еще! Через неделю суд. Припаяют лет пятнадцать...

— Пятнадцать?! — вырвалось у меня.

— Так я думаю... Ведь я убил не нарочно... Случайно убил... По правилу — не должны расстреливать... — сказал Тигран так спокойно, что меня мороз пробрал по коже. Потом он нагнулся, скинул один башмак и извлек оттуда сложенную газету. — Украл у следователя! Возьми-ка, Заза, прочитай!

— Свежая? — спросил я.

— Какая разница? Для нас все газеты этого года — свежие! — Тигран устроился поудобнее, подложил руку под голову и приготовился слушать.

Я развернул газету, это был майский номер. Первую, вторую и третью страницы занимали таблицы статистического управления «О ходе выполнения плана весенних полевых работ в колхозах и совхозах».

— Вот не повезло, одни таблицы! — сказал я.

— Читай последнюю страницу! — посоветовал Девдариани.

— «Новости сельской техники», — прочитал я.

— Давай, давай! — подбодрил меня Шошиа.

— «Агроном-механизатор колхоза села Телиани Гурджаанского района Гиви Батиашвили сконструировал яблокоочистительную и ореходробильную машину одновременного действия. Установка, состоящая из двух механических молотков и нескольких ножей, питается переменным током в сто двадцать вольт, легка в управлении, высокоэффективна. Так, если для ручной очистки одной тонны яблок требуется свыше сорока человеко-дней и одной тонны орехов — шестнадцать человеко-дней, машина эту работу выполняет за один

рабочий день. Таким образом, новая машина высвобождает большое количество работников и экономит хозяйствам плодородческих районов миллионы рублей.

Следует отметить, что подача яблок и орехов, а также процесс очистки раздробленных орехов пока еще не механизированы, но тов. Батишвили надеется, что в ближайшем будущем машина будет усовершенствована. Испытания машины прошли успешно. Она будет широко внедрена в производство в районах плодородства и ореховодства».

— Наверно, автор представлен к Государственной премии, — сказал Чейшвили.

— Не знаю, здесь об этом ничего не написано, — сказал я.

— А что еще писать! Человек сделал, что мог. Можно сказать, облагодетельствовал родной район! — заявил Шошиа.

— Бог не создавал существа ленивее человека! — вмешался в разговор Исидор. — Со дня сотворения мира человек без усталости трудится, проливает пот, пыхтит, мучается, строит машины, двигатели, станки, агрегаты, создает роботов, сочиняющих музыку, стихи, романы, изобретает читающие, переводящие, слышащие и видящие автоматы, опускается на морское дно, проникает в глубь Земли, летит на Луну... И во имя чего все это? Вы подумали об этом? Во имя безделья! Да, да! Чтобы прилечь потом в тени и ничего уже самому не делать! Чтобы не трудиться! Видите, этот Батишвили уже не желает дробить орехи и чистить яблоки! Машину изобрел!.. Будь моя воля, я бы его повесил на первой же яблоне! А вы говорите — премию!

— Пожалуй, если трезво подойти к вопросу, то логические рассуждения приведут к неизбежному выводу о том, что, в конечном счете, мы или переродимся и исчезнем с лица земли в результате естественной деградации, или истребим друг друга, или же сам бог истребит нас и превратит в ту самую глину, из которой он создал первого человека! — вынес Чейшвили приговор всему человечеству.

— Чейшвили, может, ты и создан из глины и слюней, но меня создал собственный отец! — обиделся Шошиа.

— Ну о чем толковать с этим невеждой, с этим черным антрацитом! — обратился Чейшвили к Исидору.

— Это я — антрацит? — остолбенел Шошиа.

— Ты, ты, неуч и болван, не прочитавший за всю жизнь и двух книг!

— Почему же ты, знающий наизусть Чернышевского, почему ты сидишь здесь, рядом со мной? Ты, злостный неплательщик алиментов! — пристыдил Шошиа оппонента.

— Я доказываю, — продолжал Чейшвили, — что люди в конце концов истребят друг друга, тем более что этому процессу уже положено начало Тиграном Гулояном и Зазой Накашидзе! — И он театральным жестом указал на нас.

— Заткнись, Чейшвили! Знаешь ведь: убийца одного человека и убийца батальона — для суда все одно: убийца! — оборвал Тигран разглагольствования Чейшвили.

— Я ничего такого не сказал. Я считаю, что или люди сами истребят друг друга, или же бог истребит нас всех. Разве это не так, уважаемый Исидор?

— Нет, не так. Бог не может истребить человечество! — возразил Исидор.

— Почему?

— Потому что бога открыл человек и с тех пор бог стал богом, с тех пор он существует в сознании человечества. Не станет человечества — не станет и бога. Бог не пойдет на самоуничтожение!

— Да, но ведь однажды бог уже истребил человечество?

— Когда?

— Во время всемирного потопа!

— Всемирный потоп был блефом!

— Как же так?

— Очень просто. Если б бог действительно желал истребления человечества, он уничтожил бы и Ноя. Однако Ной остался жив, в лице Ноя бог сохранил свое собственное существование!

— Я не могу согласиться с вами, уважаемый Исидор! Ведь существовал же бог до возникновения человека?!

— А кто знал об этом? Об этом знал лишь сам бог, и никто больше. А поскольку единица, умноженная или деленная на единицу, есть та же единица, то бога эта арифметика не устраивала. Потребовалось еще и сложение. Понимаете? Для того, чтобы стать богом, стать вечным, богу понадобились люди. Нет людей — нет бога!

— Уважаемый Исидор прав! — воскликнул Тигран. — Когда я умру, для меня не будет ни бога, ни прокурора, ни судьи. Хоть складывай, хоть вычитай, — после меня останется нуль. Так ведь, Шошиа?

— Ничего подобного! Ты умрешь, но подобных те-

бе дураков у бога останется еще три миллиарда. А к двухтысячному году их станет восемь миллиардов!

— Таких, как я? — удивился Тигран.

— И похуже тебя.

— Восемь миллиардов?

— Ну, не восемь, так половина!

— Полмиллиарда?

— Нет, половина тех восьми, четыре миллиарда.

— Ва-а, четыре миллиарда! С ума можно сойти!

— Вот я и говорю: когда весь мир превратится в Тигранов, богу станет стыдно за содеянное им, и он уничтожит человечество! — резюмировал Чейшвили.

— Чейшвили, тебе в карантине делали укол? — вдруг спросил Девдариани.

— Какой укол?

— Обыкновенный укол. В карантине.

— При чем тут укол?

— При том... Скажи, делали? — повторил Девдариани таинственным шепотом.

— Делали. А что?!

— Большой или маленький?

— Большой!

— Да-а-а...

— В чем дело? — забеспокоился Чейшвили.

— А тебе не сказали, какой это укол?

— Сказали, против тифа, чумы и холеры.

— Ха-ха-ха! — иронически рассмеялся Девдариани.

— В чем дело, Девдариани? Что вы в этом видите плохого? — разнервничался Чейшвили.

— Значит, три укола?

— Нет, два укола и одну прививку! — уточнил Чейшвили.

— Ай-яй-яй! — всплеснул руками Девдариани.

— Да скажите, в конце концов, в чем дело?

Девдариани молчал и с сожалением качал головой. Потом он взглянул на Чейшвили такими глазами, что мне действительно стало страшно и в сердце вкралось предчувствие чего-то трагического, ибо укол, о котором говорил Девдариани, делали и мне, впрочем, и всем остальным.

— Девдариани, говори, в чем дело, или убей меня! — взмолился Чейшвили.

— Скажи, Чейшвили, как давно тебе не снилась женщина?

Чейшвили сперва улыбнулся, потом громко рассмеялся, но вдруг внезапно побледнел, как полотно:

— Девдариани, неужели?!

Девдариани утвердительно кивнул, всем своим видом выражая искреннее сочувствие.

— Неправда! Ложь! Не поверю! — взвыл Чейшвили, оглядывая нас испуганными глазами. — Как же это? А?!

— Ладно уж, не убивайся! — утешил его Лимон. — Пройдет лет десять и...

— Как десять?!

— Так. Каждый укол рассчитан на пять лет... Собственно, упрекать администрацию тюрьмы в данном случае нельзя. Мы, брат, мужчины... И знаем, как трудно мужчина переносит отсутствие женщины... Правилами тюремного распорядка... это самое... обслуживание мужчины женщинами не предусмотрено... Вот и получается, что в интересах нашей нервной системы эти уколы просто необходимы...

— К черту нервы! — завопил Чейшвили. — Кому

нужны нервы! Десять лет прожить жалким скопцом, евнухом, кастратом?! Да на черта мне потом жизнь?! Какое они имели право?! Что я, Распутин какой-нибудь?! Или Чезаре Борджиа?! Вот еще! Усмиряющие уколы! Произвол! Десять лет! Да через десять лет я сам себе сделаю этот укол! Мне жизнь нужна сейчас! Я сейчас собираюсь создать семью! Что это такое?! На что это похоже?! Почему судьба моего потомства должна зависеть от воли какого-то болвана, начальника тюрьмы?! Кому мой темперамент причинил беспокойство?! Я вас спрашиваю, люди! Чего вы молчите?! Вам разве не делали этих уколов?! Ты! — набросился Чейшвили на Шошиа. — Чего ты улыбаешься, дурак! Тебе ведь тоже сделали укол?

— А мне наплевать! У меня двое детей!.. А женщины... При моей-то статье не то что бабы, сам ангел мне не мил, а ну их!

— А вы, уважаемый Исидор? — кинулся Чейшвили к Исидору. Тот лишь улыбнулся снисходительно и выразительно провел рукой по седой голове. Чейшвили смутился, но тут же повернулся ко мне:

— А ты?!

— Мне делали один маленький укол!

— Маленький?

— Да.

— А что значит маленький, Девдариани?!

— Маленький укол — на один год! — невозмутимо объяснил Лимон.

— Так это был мой укол! Они спутали. Это мой срок — год! Как бы они там ни тянули, больше года мне суд не даст! Что мне теперь делать?!

Чтобы не расхохотаться, я бросился на нары и уткнулся лицом в подушку.

— Заявление! — крикнул кто-то.

— Какое заявление? О чем? — спросил удивленный Чейшвили.

— О восстановлении мужских способностей! — ответил Девдариани.

— А где вы были до сих пор?! Чем мне теперь поможет заявление? — спросил Чейшвили упавшим голосом.

— Пиши, пока не поздно!

— Бумагу! — крикнул Чейшвили. Ему подали лист бумаги. — Карандаш! — Подали карандаш. Он присел к столу, с минуту грыз карандаш, потом спросил:

— Кому адресовать заявление?

— Начальнику тюрьмы!

— Прокурору!

— Президенту!

— Врачу!

— ООН!

— Распутину! — посыпалось со всех сторон.

— Пиши на Мао Цзэ-дуна, у него есть жень-шень, говорят, помогает! — посоветовал Шошиа.

— Провокатор! — поморщился Чейшвили. — Девдариани, кому писать заявление?

— Начальнику тюрьмы, и как можешь категоричнее! — ответил тот серьезно.

— Спасибо, друг! — прослезился Чейшвили. — А вы, — обратился он к нам, — вы — скоты и сволочи!

— Заза-джан, пока он сочиняет заявление, ты продолжай читать газету! — попросил Тигран.

— Ладно. Читаю. «Чтобы человеку быть здоровым!»

— Вот это как раз для нас! — одобрил Шошиа.

— «Трудно найти человека, который не испытывал бы головных болей...»

— Неправда! У меня никогда голова не болела! — прервал меня Гулоян.

— Тигран, здесь сказано про людей! — сказал я и продолжал: «В большинстве случаев головные боли носят непродолжительный характер. Если же боль резкая и продолжается длительное время, что не может не отразиться на трудоспособности человека, — это, как правило, указывает на заболевание, и в таком случае следует обратиться к врачу. Вмешательство специалиста желательны также и в случаях заболевания желудка, печени, аппендикса, при переломах, зубной боли, обильном потовыделении и совершенно необходимо при острых инфекционных заболеваниях, таких, как брюшной тиф, оспа, холера и т. д. Самолечение — враг здоровья. Кандидат медицинских наук, врач К. Долгорукова...»

— Эта газета за последнее время совсем из ума выжила! — проворчал Исидор.

— Отчего же? Полезные вещи пишет! Не будь этих советов, что бы с нами стало? — сказал Тигран.

— «В мире интересного», — продолжал я.

— Давай, жми! — подбодрил меня Шошиа.

— «Интересные наблюдения были проведены орнитологами в Германской Демократической Республике».

— Заза-джан, а что такое орнитология? — спросил Тигран.

— Не знаю, Тигран-джан.

— Орнитология — раздел зоологии, изучающий

птиц, — отозвался механически Чейшвили, не прерывая сочинения заявления.

— Ва, это кроссворд, что ли? — удивился Гуляян.

— «Они доказали, что птицы, населяющие не только города, но и леса, для сооружения гнезд, помимо традиционных материалов, успешно применяют ультрасовременные материалы—алюминий, пенозолосидикат, куски полиэтилена, стекловату, нейлоновые волокна, изолированные провода и т. д. В одном воробьином гнезде обнаружили аккуратно вплетенные серебряные нити от радиодеталей...»

— Сочиняешь, Накашидзе, не может быть этого в газете! — усомнился Девдариани.

— Клянусь мамой, так написано!

— Ну, в таком случае, у этого воробья наверняка будет и телефон. Выйду отсюда, обязательно позвоню! В камере грянул дружный хохот.

— Ух, давно я так не смеялся, не к добру это! — проговорил Шошиа.

— Читаю дальше! «Как вести себя в гостях».

— Ну, это не для нас! — махнул рукой Шошиа.

— Почему же? Может, случится чудо, выпустят нас отсюда! — произнес мечтательно Тигран.

— «Будучи в гостях, никогда первым не усаживайтесь за стол. Никогда не берите с тарелки последний кусок, — это невежливо. Пусть это сделают другие».

— Как это — другие? — спросил Шошиа.

— Откуда мне знать?

— А что, для того, «другого», этот кусок не последний? — спросил Девдариани.

— Наверно, имеются в виду те, кто не читает эту газету, — разъяснил Исидор.



— Стоп! Прекратите чтение! — вскочил вдруг Чейшвили.

— В чем дело? — испугался я.

— Я закончил!

В камере наступила тишина.

— Я закончил! — повторил Чейшвили. Он был сильно взволнован. Лицо его покраснело, лоб покрылся крупными каплями пота, рука, в которой он держал заявление, заметно дрожала.

— Начинай! — скомандовал Девдариани, и Чейшвили начал:

— «Начальнику Ортачальского Дома заключения (тюрьмы) Министерства внутренних дел Грузинской ССР гр-ну А. И. Габедава

от находящегося под следствием, арестованного без всякого основания заключенного камеры № 10, корпуса № 5 вверенной Вам тюрьмы Галактиона Варламовича Чейшвили

Категорическое заявление-требование

Докладываю, что в 1950 году, в возрасте 24-х лет, я, нарушив наши грузинские архаические, патриархальные, отжившие себя, покрытые вековой плесенью, узурпаторские семейные традиции, связал свою жизнь с представительницей другой (негрузинской) национальности — с миловидной, спокойного нрава особой моего же возраста (сознательно воздерживаюсь от таких святых выражений, как, например, «девушка»), являвшейся выпускницей филологического факультета Тбилисского государственного университета, в результа-

те чего мне пришлось навсегда порвать с моими родными и родственниками.

Естественно, у нас появились дети. Слово «у нас» я употребляю условно, так как, по глубочайшему моему убеждению, указанный процесс деторождения нельзя считать обоюдным, ибо, по моим тщательным подсчетам, проведенные мною акты самозабвенной любви по срокам ни в коей мере не соответствуют датам появления на свет двух ни в чем не повинных, безгрешных существ. Таким образом, подчеркиваю, у моей супруги в разное время родились два мальчика, в каковом процессе я совершенно исключаю мое личное начало. Поэтому я отказался признать их своими детьми, несмотря на их некоторое сходство со мной, ибо внешнее сходство еще ничего не доказывает, поскольку мудрая грузинская пословица гласит: «С кем поживешь, у того и переймешь». Таким образом, в результате отказа от семьи и от уплаты алиментов, я и нахожусь в настоящее время во вверенном Вам заведении. Однако сейчас речь идет не об этом, а о другом, а именно:

Из вполне авторитетных и компетентных источников, — Чейшвили окинул Девдариани гордым взглядом, тот в знак согласия и поддержки выразительно кивнул головой, — из вполне авторитетных и компетентных источников мне стало известно о совершенном здесь акте, гуманном по виду, но жесточайшем по сути, акте, который является не чем иным, как проявлением варварских, человеконенавистнических идей и воплощением гнусной теории Мальтуса. Жертвой этого акта стали мы, в данном случае лично я. Дело в том, что во время нахождения в карантине мне, в соответ-

ствии с Вашим распоряжением, было впрыснуто вещество против сексуальной возбудимости в дозе крупной иглы, т. е. со сроком действия на десять — пятнадцать лет. И это в то время, когда срок моего наказания при наихудшем исходе не может превысить одного года принудительных работ, из коих половину я, благодаря «энергичной» работе ваших следственных органов, уже провел в совершенно не подходящих для меня условиях. Получается, что четырнадцать лет после отбытия наказания я буду лишен высших человеческих чувств, которые, не говоря уже о другом, служат обязательным условием сохранения непрерывности цикла природного развития и регулирования взаимоотношений мужчины и женщины.

Вы можете отрицать этот возмутительный факт, но неопровержимые улики налицо: вот уже пять месяцев, как мой организм, к великому моему сожалению, не проявляет никаких эмоционально-половых физических импульсов, что может быть чревато трагическими последствиями.

Я, как вполне еще полноценный и здоровый мужчина, намеревающийся создать подлинно гармоническую семью, не выполнивший пока еще своего мужского долга перед потомством и своим родом, заявляю энергичный протест и категорически требую принять срочные меры для восстановления моего полового потенциала, а виновных лиц строго наказать. В противном случае объявляю голодовку.

Заявитель Г. Чейшвили».

Камера притихла.

Все поняли, что произошло страшное недоразумение, что невинная, казалось бы, шутка переросла в какой-то наивно-трагический, душераздирающий фарс, в какой-то странный цирковой номер. И было невозможно понять, кто здесь в роли циркового клоуна — мы, разыгрывавшие эту дикую шутку, или этот не остывший еще от нервного возбуждения ничтожный человек, который выжидающе глядит на нас своими воспаленными, испуганными глазами...

Не помню, как долго длилось молчание. Я сидел понуриив голову и чувствовал, как в мое сердце впивается раскаленный гвоздь.

— Спросить врачей, они скажут, что он здоров! — донесся до меня надтреснутый голос Гулояна.

— Тигран Гулоян! — раздался следом низкий, глухой голос Исидора. — Ты — подонок, и я презираю тебя! — Тигран не промолвил ни слова. — Девдариани, ты такой же подонок, и я презираю также и тебя! — Девдариани молча отвернулся к стене. — И вы, Накашидзе и Шошиа, и вы оба — жалкие подонки, я ненавижу вас! — Побледневший Шошиа прилип к окну, а я, еле сдерживая рыдания, уткнулся в подушку. — И ты, несчастный, ты такой же подонок, заслуживающий жалости! — обернулся Исидор к Чейшвили. — Но самый последний подонок — это я сам, и больше всех я презираю себя.

— В чем дело, уважаемый Исидор? Что случилось? — спросил испуганно Чейшвили и, вдруг поняв, очевидно, все, улыбнулся жалкой, вымученной улыбкой, опустил руки, съежился, понурил голову и присел на нары. Потом он медленно, словно нехотя разорвал

на куски свое заявление и спросил отрешенным голосом:

— Что это такое, а? Как это называется?

— Никак. Этому нет названия! — ответил за всех Исидор.

Звякнул засов, открылась дверь, и вошел надзиратель с котлом в руках. Он поставил котел посередине камеры и, увидев, что никто не сдвинулся с места, удивленно оглядел всех и молча вышел. Когда же вечером, придя за котлом, надзиратель нашел суп нетронутым, он разволновался:

— Но, но, без фокусов! Вы что, голодовку объявили?!

— Не бойся! Забирай свой суп и передай повару, что он забыл положить в котел мяса! — успокоил его Девдариани. Надзиратель облегченно вздохнул.

— А, мяса? Какое прикажете подать? Телятину или баранину?

— Человечину! — тихо ответил Девдариани.

Надзиратель поспешно покинул камеру.

Неделю тому назад увели Чейшвили с вещами. После того случая он перестал с нами разговаривать, и когда его вызвал надзиратель, он подозрительно покосился на нас, очевидно ожидая очередного подвоха. Убедившись, что это не так, Чейшвили растерялся. Он забегал по камере, хватая и роняя вещи, потом кое-как собрал их и двинулся к двери. Но вдруг бросил свою котомку и кинулся к нам, стал обнимать и целовать каждого в отдельности, прослезился сам и заставил прослезиться нас.

Нас в камере осталось пятеро — я, Тигран, Лимон, Шошиа и Исидор.

Уходу каждого заключенного в тюрьме радуются искренне, но вместе с тем освобождение одного вызывает печаль у других. Забыв о степени собственной виновности, каждый про себя сожалел, что надзиратель назвал не его, а чью-то чужую фамилию. Так думают все, даже смертники, ибо нигде так не верят в чудеса, как в тюрьме.

Нас осталось пятеро. И как будто остановился бег времени. Никого больше не приводят, никого не увозят... Странное, парадоксальное явление: чем больше в камере заключенных, тем острее человек чувствует себя одиноким, оторванным от всего мира, растворившимся среди людей и вещей. Бывает — заглянешь в собственный чулан, забитый старой рухлядью, ищешь припрятанный на всякий случай большой ржавый гвоздь, перероешь все вокруг и не замечаешь, что гвоздь лежит тут же, перед твоим носом... Так и в камере: рядом с тобой живут десятки людей и никто не замечает тебя, никому до тебя нет дела... Теперь, когда нас осталось так мало, камера будто опустела, словно вынесли из нее и стол, и стулья, и парашу, и даже бачок для воды... Словно нас самих раздели, оголили... Мы, как никогда прежде, ясно читаем мысли друг друга; как никогда прежде, переживаем собственную боль, собственное одиночество, и все это раздражает нас. Мы действуем на нервы друг другу, и лишь ценой огромного напряжения воли нам удастся сохранить равновесие. В камере, рассчитанной на тридцать человек, нам, пятерым, стало тесно. Мы задыхаемся. И единственное, что нас сдерживает, это — первооснова, идол, святыня, гимн, надежда человечества — хлеб наш насущный.

Нет, наверно, в мире трапезы более почтенной, же-

ланной и благословенной, чем трапеза в тюремной камере. Понятие общего стола здесь возведено в религиозную степень. Люди, разделившие в камере общий стол, уподобляются побратимам, поклявшимся друг другу в верности до гроба. Говорить за тюремным столом об этике «последнего куска» дико и смешно, ибо здесь нет последнего куска. Каждый кусок здесь делится на части по количеству сотрапезников и съедается одновременно всеми.

Посылки из дому поступали раз в десять дней. Потом по неизвестной нам причине этот интервал увеличился до двадцати дней. Затем, в одно прекрасное утро, надзиратель ознакомил нас с новым приказом администрации. После глубокого анализа и всестороннего изучения этого документа нам стало ясно, что, во-первых, поступающие от родных посылки вызывают у заключенных нежелательные эмоции, горькие воспоминания, слезы, апатию и даже, в отдельных случаях, истерики, а, во-вторых, экономический эффект подобной семейной помощи, с точки зрения государства, совершенно ничтожен, поэтому следует признать оправданным и целесообразным новый порядок, согласно которому впредь посылки будут поступать раз в шесть месяцев, причем с единственной гуманной целью — не дать некоторым индивидуумам, обладающим утонченным кулинарным вкусом, окончательно забыть специфические особенности блюд, приготовляемых их дорогими мамашами, женами, тетками и т. п. Что же касается калорийности установленной для каждого едока тюремной порции, то государство считает ее вполне достаточной для того, чтобы упомянутый едок, находясь в упомянутом заведении, до конца прочувствовал ситуацию,

разобрался в обстановке и хорошо помнил, почему он здесь находится.

Руководствуясь всем вышеизложенным, я, Шошиа и Исидор имели все основания считать полученную мною сегодня посылку последней в этом году, так как фактически посылки поступали только в наш адрес. Гулояна и Девдариани нововведения в области снабжения заключенных волновали мало. Девдариани признался мне, что с тех пор, как он избрал жизненный путь, несколько отличающийся от общепринятых человеческих норм и принципов, оскорбленная в лучших своих чувствах его родня вообще забыла имя своего непутевого отпрыска, так что ни о каких домашних посылках для него не могло быть и речи. С Тиграном дело обстояло иначе: во-первых, единственная живая из всех его сородичей тетка жила в Ленинакане и посылать в Тбилиси такие скоропортящиеся продукты, как, например, толма, было бы с ее стороны непростительной глупостью; а, во-вторых, количественные и вкусовые показатели ежедневного рациона Тиграна на воле значительно уступали соответствующим показателям тюремной пищи, поэтому он не испытывал никакой потребности в налаживании гастрономических связей с внешним миром. Более того, Тигран доверительно сообщил мне, что, будучи на воле, он скучает по «казенной пище» и не дождетя дня, когда сможет вновь насладиться ароматами тюремной кухни, ставшими ему родными и милыми.

...Пока я читал и перечитывал записку матери, Шошиа, потирая руки, накрывал на стол. Посылка каждый раз сопровождалась небольшой запиской, содержавшей перечень присылаемых продуктов.

«Сыноч, посылаю тебе:

- 1) хлеб — 1 шт.
- 2) котлеты — 8 шт.
- 3) зелень — лук, чеснок, тархун, цицмати, редиска — по 1 пучку.
- 4) яблоки — 4 шт.
- 5) колбаса — 1 шт.
- 6) сахар — 1 пачка.
- 7) табак — 2 пачки.

Извини меня, родной. Целую, мама».

Письмо было написано на тетрадном листке красивым крупным почерком. Перечитывая его, мне хотелось не есть, а плакать...

— Прошу уважаемое общество к столу! — пригласил нас Шошиа.

Я спрятал записку в карман и подошел к столу. Подсели и остальные. Некоторое время мы молча взирали на разложенную снедь, словно ожидая благословения священника.

— Начинай! — обратился ко мне Шошиа.

— Почему я?

— Потому что это гостинец от твоей матери. Начинай, а то я подавлюсь слюной!

— Уважаемый Исидор, начните вы! — попросил я.

Исидор взял крупный сочный стебель цицмати, сложил его вчетверо, обмакнул в соль и стал есть с аппетитным хрустом. Не в силах больше сдерживаться, мы набросились на еду. Насыщались жадно, торопливо. Когда голод был несколько утолен, мы стали есть медленнее, смакуя каждый кусок, наслаждаясь пищей. Скоро на столе осгались три котлеты и малюсенький кусок колбасы.

— Быстро кончилось! — сказал я, словно оправдываясь.

— Ты съешь целую котлетку, мы возьмем по половинке, — решил Девдариани.

— Твоя мать думает, наверно, что ее посылку ты съедаешь один! — сказал, смеясь, Тигран.

— Наверно...

— Хотя бы и так. Восьми котлеток не хватит и одному! — заявил Шошиа. У меня больно сжалось сердце. Я представил себе, как уставшая, осунувшаяся мать после работы идет на базар, подходит к прилавку в мясном ряду и долго упрашивает мясника — огромного, пузатого, с вытаращенными глупыми глазами детину — уступить ей подешевле валяющиеся на прилавке обглоданные кости.

— Много мяса стóит много денег, Шошиа! — сказал я, с трудом сдерживая себя, и, чтобы не сорваться на крик, отправил в рот свою долю котлет.

— Деньги? Денег, дорогой мой, сколько угодно! Во-о-о-т их сколько в одном месте! — Шошиа провел рукой поверх бровей.

— Где же это? — поинтересовался Тигран.

— У льва в заднице! Засунь руку и вытаскивай! — объяснил Шошиа.

— Так просто и вытаскивать? — усомнился Тигран.

— Вот именно! — Шошиа закатал правый рукав. — Засунь и вытащишь!

— Грязный ты человек, Шошиа, тьфу! — плюнул Тигран. — Поделом тебе! Сиди в этой вонючей клетке!

Шошиа взял со стола уцелевшую чудом головку редиски, положил ее на ладонь, словно Гамлет — извле-

ченный из могилы череп, ткнул в нее указательным пальцем правой руки и начал:

— Вот, друзья мои, точка, которая сегодня подытожила всю мою жизнь! Горе тебе, бедный Шошиа! Горе вам, золотые мечты и видения моей юности! Горе тебе, колесо моей судьбы! С каким трудом поднял я тебя на гору и как бесповоротно, как безжалостно ты скатилось вниз! Увы!.. Из сорока лет моей жизни тридцать я жрал черный хлеб, лук, редиску и горчицу. Тридцать лет мне грезилась белый хлеб и сливочное масло, икра и шашлык из молодого барашка, филей и бастурма, перепела и фазаны, двухэтажный особняк с облицованными мрамором ванной, кухней, туалетом, черный лимузин и белая дача на берегу моря, красивая жена и краснощекие дети! Тридцатилетние грезы я за десять лет превратил в явь! И в какую явь! Кто из вас ел икру трех сортов — черную, красную, желтую? Кто из вас ел жареное сливочное масло? Вам приходилось платить парикмахеру за бритье десять рублей? А зурну* вы затыкали сторублевой бумажкой? То-то! Знаю, этот простачок Тигран спросит у меня: «Откуда столько денег, Шошиа?!» Оттуда, дорогой мой! Из львиного зада! Что ты хочешь сказать, Девдариани? Что и вы таскаете деньги из львиного зада? Не спорю. Но вы таскаете руками, а я — головой! Самое большее, лев у вас откусит руку, а мне он отгрызет голову! Чувствуете разницу? Что? Вы спрашиваете, уважаемый Исидор, чем все это кончится? Увы! Ничем хорошим! Я теперь мечтаю о тех же, опостылевших мне за тридцать лет, черном хлебе, луке, редиске и горчице! Вместо двухэтажного особняка те-

* З у р н а — восточный музыкальный духовой инструмент.

перь у меня стокомнатная квартира, вместо мраморной ванной — параша, вместо красивой жены и краснощеких детей — вы, сволочи и мерзавцы, чтоб вам всем провалиться!.. Есть еще вопросы, уважаемый Исидор? — Шошиа низко всем поклонился и умолк.

— Паяц ты, Шошиа! — сказал Девдариани.

— Нет, дорогой мой Лимон, Шошиа не паяц, а обреченный на смерть человек! — вздохнул Шошиа.

— Напрасно прибедряешься, меня не растрогаешь! Думаешь, буду реветь на твоих панихидах? Черта с два!

— Почему так, Девдариани?

— Потому, что и ты, и я, и он, — Девдариани рукой показал на Тиграна, — все мы должны умереть.

— Лимон-джан, ты о себе подумай, а о моей смерти позаботимся я и мой судья! — возразил Гулоян.

— Погоди, Тигран! А ты, Шошиа, ты должен умереть раньше меня!

— Это еще почему?

— Потому, что все твои грёзы и сны уже сбылись, а я пока не досмотрел и половины положенных мне снов!

— Это не объяснение. Мне не хочется умирать! — запротестовал Шошиа.

— А что тебе делать в этой жизни?

— Как это что? У меня уйма недоделанных дел!

— Каких?

— Много дел, Лимон! — Шошиа призадумался на минутку, потом продолжил: — Дом в Самадло* закончить — это раз. Второй дом, в Марткопи**, на тещином

* Самадло — пригород Тбилиси.

** Марткопи — село недалеко от Тбилиси.

участке, почти подведен под крышу, надо перекрыть — это два. Двоих мальчиков устроить в вуз — это три. Потом надо их ввести в жилищооператив — это четыре... Теперь дальше: двухкомнатную квартиру моего отца надо обменять на однокомнатную в моем доме, на третьем этаже. Потом мне нужно перейти в трехкомнатную рядом с той однокомнатной. Там живут одна семья и одинокий старик. Семье я даю свою двухкомнатную, старику — изолированную однокомнатную моей тещи. Но этот, двухкомнатный, не соглашается идти в мою двухкомнатную. Старик, говорит, скоро умрет, его комната, говорит, останется мне, зачем, говорит, утруждать себя беготней вверх-вниз. Я ему обещаю телефон поставить, — не хочет! Десять тысяч, говорю, добавлю, — не хочет! Ремонт, говорю, сделаю, — не хочет! Вот такой вредный тип!.. Дело это или не дело? Надо его уладить? Надо. Теперь слушай дальше: наш цех собираются прикрыть... Должен ведь я взять оттуда свой пай, подыскать другое дело?.. Тоже хлопоты!.. Теперь: приближается моя очередь на новую «Волгу». Значит, ту, старую, которую я тогда оформил на шурина, придется переоформить на другого, — две «Волги» в одной семье получается как-то неудобно...

— У тебя, Шошиа, оказывается, нет никаких дел, — прервал его Исидор, — можешь умирать спокойно!

— Как это — никаких дел! А все, что я перечислил, — это разве не дела? — воскликнул Шошиа.

— То, что другие могут сделать без тебя, нельзя называть делом. Дело — это то, что создано только для тебя одного, то, что должен сделать ты один и никто другой.

— Какие, например, дела?

— Таких не так уж много. Первое — создание семьи, детей. Второе... второе — отбытие наказания в тюрьме... Третье — смерть.

— А работа, служба, беготня, хлопоты, добывание денег, воспитание детей?! Все это, по-вашему, не дело?!

— Повторяю тебе: все, что могут сделать другие без твоего участия, — не дело!

— Что же это такое, по-вашему?

— Ничего. Так, просто взаимоотношения, сотрудничество людей... Непонятно?

— Нет!

— Так я и знал... — вздохнул Исидор, вставая со стула. Шошиа полез на свою галерку.

— Значит, кроме смерти, ничего больше делать мне уже не осталось? — обиженно проговорил он.

Спустя несколько минут я посмотрел на Шошиа. Бледный, как-то вдруг весь съежившийся и сникший, он сидел на нарах, словно голодная птичка в клетке, уставившись печальными глазами куда-то вдаль, в знойное августовское марево.

Мне стало жаль его.

— Шошиа, ты чего приуныл? Дядя Исидор пошутит с тобой! Правда ведь, дядя Исидор?

Исидор понял меня и горько улыбнулся.

— Пошутит, конечно, пошутит! — отозвался он.

— Слышишь, Шошиа?

— Спета песня вашего Шошиа! — ответил он, не оборачиваясь ко мне.

— Что мне делать с этим? — спросил меня Тигран, показывая на оставшуюся котлету.

— Съешь!

Тигран подбросил котлету в руке и положил на место...

...Вечером неожиданно распахнулась дверь и вошел надзиратель. Мы быстро присели на нарах.

— Лежите?

Мы промолчали.

— Может, по карцеру соскучились?

Голос надзирателя звучал так устало и вяло, что я понял: ему вовсе не хотелось вспоминать о карцере, он сделал это лишь потому, что мы были заключенными и не имели права до отбоя ложиться на нары, а он был надзирателем и не имел права не замечать нарушений тюремной дисциплины.

Надзиратель раскрыл журнал, с минуту что-то читал, потом поднял голову и спросил:

— Кто тут староста?

— Нет у нас старосты! — ответил Девдариани.

— Почему?

— Был Гоголь. Его увели. Нового мы не выбирали, да и не нуждаемся в нем.

— Как это не нуждаетесь? Порядок есть порядок! — это также было сказано вяло и беззлобно — ради приличия.

— Зачем пятерым нужен староста? — буркнул я себе под нос.

— Как твоя фамилия? — спросил надзиратель, заглянув в журнал.

— Накашидзе! — ответил я.

— Вот ты и будешь старостой! — решил надзиратель. — Вы не возражаете? — обратился он к остальным.

— Если это обязательно, если он согласен и если

тебе так хочется, мы не возражаем! — ответил Девдариани.

— В таком случае собери простыни и наволочки и шагай за мной. Поменяешь в прачечной!..

Постельное белье нам меняют раз в десять дней. Тогда же мы и моемся. Наши простыни и наволочки — это не белоснежные куски полотна, веселыми парусами развевающиеся на ветру. Тюремные простыни и наволочки шьются из серой, скучной материи, чтобы пачкались не так быстро. Впрочем, десять дней — срок вполне нормальный.

Каждый лишний шаг вне камеры, каждый лишний выход во двор — это для заключенного то же самое, что для вольного тбилисца — заграничная поездка или, по крайней мере, прогулка по проспекту Руставели. Поэтому приказ надзирателя был мною воспринят с большим энтузиазмом.

Надзиратель был тот самый, который раньше водил меня на допрос. Мы молча прошли коридор, спустились по лестнице, вышли во двор и направились к бане. Прачечная находилась рядом с баней, в подвале; оттуда всегда валили клубы пара и доносился женский гомон. Сейчас прачечная почему-то молчала.

Мы были уже почти у прачечной, когда из главного корпуса надзиратель вывел заключенного.

— К стене! — приказал мне надзиратель.

Я стал лицом к стене. Подошли те двое. Надзирателя я узнал по голосу — он в прошлый раз разговаривал с моим.

— Привет Арсену! — поздоровался он.

- Привет! — ответил мой.
 - Ты что не в духе? — спросил он.
 - Отец помирает... — ответил мой.
 - Что с ним? — забеспокоился тот.
 - Умирает...
 - А что говорит врач?
 - Вышел весь, — говорит, — износился...
 - Сколько ему?
 - Восемьдесят шесть.
 - Ну, дорогой мой!..
 - Отец как-никак...
 - Да, конечно...
 - А как твой пацан? Выздоровел? — спросил мой.
 - Не говори!.. Выздоровел! Такой шалун, сукин сын!..
 - Дай бог ему здоровья!
 - Спасибо! Вот вчера, вижу...
 - погоди! — прервал его Арсен. — Ступай в прачечную, — обернулся он ко мне, — скажи, что ты из десятой пятого, сдай по счету белье, забирай сменное, распишись. Понял?
 - Вор? — спросил чужой надзиратель моего.
 - Нет. Обвиняется в убийстве. А твой?
 - Морфинист.
 - Так что ты рассказывал?
 - Да! Вчера вечером вижу, бежит он со двора. Левое ухо вспухло, покраснело, так и горит... Спрашиваю...
 - Иди, чего ты ждешь? — повернулся ко мне Арсен.
- Спустившись по лестнице в подвал, я чуть не задохнулся от ударившего в лицо густого кислого пара,

уюжного чада и запаха паленой ткани. Немного освоившись, я пнул ногой снабженную мощной пружиной дверь, которая тотчас же с громким стуком захлопнулась за моей спиной. Я очутился в тамбуре, дверь из которого вела в большую, полную влажного тумана комнату — прачечную. В противоположной стене прачечной виднелась еще одна — открытая — дверь в котельную, где с шипением стыли огромные котлы, — видно, стирка уже закончилась...

В правом углу прачечной я увидел большой длинный стол, на котором лежали стопки глаженных простынь и наволочек. У стола стояла обнаженная по пояс краснощекая, пышнотелая красавица лет сорока. Ее черные как смоль волосы прядями падали на вспотевшее лицо и белые полные плечи. Из туго натянутого лифа выпирали огромные, упругие груди. Женщина гладила.

Я покачнулся, словно одурманенный, и опустился на длинную скамью. И тут женщина заметила меня. Без тени страха или смущения она уставилась на меня удивленными глазами. Постепенно удивление в ее взгляде уступило место любопытству, затем радости.

Все это произошло за считанные секунды, — так, по крайней мере, показалось мне.

— Я из десятой пятого, — выдавил я, едва ворочая языком, — вот, принес белье...

Она не ответила. Лишь сочные ее губы раскрылись в широкой улыбке.

— Здесь пять простынь и пять наволочек. Куда их положить?

— Положи там! — Женщина оглянулась на дверь. — Ты один?

— Он ждет на дворе, — ответил я и положил белье на скамейку.

— Как тебя звать?

— Заза.

— Иди ко мне.

Я вздрогнул, попятился.

— Иди, не бойся!

— Где взять белье?

— Подойди ко мне!

— Скажи, где белье?

— Здесь. Иди возьми!

Я подошел.

— Где же? Я должен расписаться.

— Иди ко мне! — Женщина поставила утюг и протянула ко мне руки. — Иди, дурачок, пока не поздно! — Голос ее задрожал, грудь покрылась красными пятнами. — Иди, иди ко мне, скорей, скорей!..

Я подошел.

..Словно в сладком, сказочном сне я почувствовал на плечах и шее прикосновение ее трепещущих рук. Потом меня обожгли каленым железом ее горячие влажные губы и пылающая грудь. У меня подкосились колени, я помню лишь, как мы опустились на мокрый пол, как меня обдало жаром и все вокруг вдруг поглотила тьма. Потом мы плыли, слившись воедино, в каком-то розовом тумане, смеясь и плача, истекая слезами, и мне слышался наш горячий страстный шепот:

— Жизнь моя!..

— Солнышко!..

— Боже мой!..

— Не уходи...

— Нет...



— Ведь ты не уйдешь?..

— Нет!..

— О, боже мой!..

Где-то в извилинах моего мозга что-то замкнулось... Сильный удар тока пронзил и сотряс всю мою плоть... По телу разлилась сладкая истома, наполнив собою каждую клеточку... Потом на меня повеяло приятной прохладой, словно откуда-то подул свежий ветерок. И я очнулся.

Она улыбалась и дрожащей рукой вытирала с моего лба холодный пот.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Встань, пока он не пришел.

— Как звать тебя?

— Маро.

— За что сидишь?

— Вставай!

— Я принес белье.

— Знаю.

— И где-то должен расписаться.

— Не надо нигде расписываться. Бери со стола пять комплектов и уходи. А теперь встань!

Я встал.

— За что тебя арестовали, Маро?

— Мыло украла! — улыбнулась она.

— Неправда!

— А потом показала милиционеру язык.

— Нет, серьезно!

— Ты кто — заключенный или прокурор?

— Интересно...

— Я ведь не спрашиваю тебя!.. Бери белье и ступай!

- Я тебя больше не увижу?
- Сколько тебе лет?
- Двадцать.
- Оно и видно!
- А... в городе?
- Ступай! Если захочется, сама тебя найду.

Она легко поднялась, потянулась. Я подошел к ней и поцеловал ее в щеку. Щека была влажная и прохладная.

...Надзиратели мирно беседовали.

— Все? — спросил мой.

— Да! — ответил я.

— Так быстро?

— Да.

— Что с тобой, на тебе лица нет!

— Воздух там спертый!

— Это правда, — согласился он. — Вечно там воняет. Ненавижу ходить туда!.. Ну, пошли! Пока, Гоги! — попрощался он с тем, другим надзирателем.

— Будь здоров, Арсен!

...Гулоян и Девдариани играли в шахматы. Исидор читал книгу. Шошиа сидел, застыв как мумия, и глядел в потолок.

— Ну что? — спросил меня Девдариани.

— Принес! — Я бросил белье на нары и в изнеможении прилег.

— Видел женщин?

— Каких женщин?

— Прачек.

— Нет, они уже ушли.

— Да-а. Однажды мне пришлось пойти за бельем... Хуже нет, как глазеть на полуголых баб! — Девдариани встал.

— Куда ты? Играй! — удивился Тигран.

— Что играть, кретин, через один ход тебе мат! — ответил Девдариани и бухнулся на нары.

Я и Девдариани лежим рядом. Спит он или нет, трудно понять. Руки заложены под голову, глаза прикрыты... А мне после сегодняшнего случая не спится. Хочется поговорить с кем-то. Не для того, чтобы рассказать о своих похождениях! Не дай бог! Ребят хватит удар! Да и не поверят они. Кроме того, я вообще не охотник до подобных рассказов.

Девдариани спит... Шошиа? Нет, не спит.. Каждый раз после разговора с Шошиа мне хочется плакать, умереть, проклясть все человечество!.. Тигран? Тигран — форменный бандит! Каждый его рассказ, о чем бы он ни был, обязательно кончается убийством. И что удивительнее всего: убийство выглядит у него просто и обыденно, словно бы речь шла о загородной прогулке... Исидор? О, беседа с Исидором — одно удовольствие! Но он спит, храпит вовсю...

Я вздохнул и отвернулся к стене. (Проклятая лампочка! Как она действует на нервы! Никак не привыкну к ее вечному тусклому мерцанию!)

— Что с тобой, парень?

Девдариани! Значит, он все же не спит! Слава богу!

— Не спится, Лимон!

— Влюблен?

— Странная у меня натура, Лимон. Стоит мне увидеть женщину, перекинуться с ней двумя словами, и я уже влюблен!

— Несчастный ты человек!

— Хуже того: скажем, стою я на улице. Кругом кишат люди. Пройдет мимо незнакомая женщина, случайно заденет меня взглядом, и мне уже кажется, что она выбрала именно меня и чуть не готова сейчас же выйти за меня замуж или, в крайнем случае, переночевать со мной, если я этого захочу... Ну, скажи, разве не дурак я?

— Ты счастливый человек!

— Почему?

— Потому что чувствуешь свою глупость.

— Вот сегодня... Только увидел прачку, и готово, влюбился... Так и маячит перед глазами...

— А Нуну разлюбил?

— Нет, но к Маро тянет сильнее... как тебе сказать... физически!

— Ее зовут Маро?

— Да.

— Красивая?

— Черт их разберет! Здесь, в тюрьме, все женщины красивые!

— Да, это так...

Наступило молчание... Потом Лимон заговорил, — не со мной, а скорее сам с собой:

— А она была правда красавица...

Я затаил дыхание, поняв, что мне предстоит выслушать исповедь Девдариани, что сейчас, прорвав, наконец, плотину, неудержимо хлынет все то, что наболело и накипело у него на душе с годами.

— ...На Майдане* жил один рыжий еврей — Ефрем

* М а й д а н — старое название одного из районов Тбилиси.

Бабаликашвили, вср. Когда-то мы вместе работали на десятом номере трамвая... Потом он стал промышлять золотом. Сейчас он в Израиле — уехал недавно. Так вот, однажды этот Бабаликашвили дал мне хорошее дело: Сслопаки*, Коджорская улица, бельэтаж, квартира зубного врача... Было это лет десять тому назад, но я помню все так, как будто это случилось вчера... Стоял июль, жара в тени до сорока градусов. Тбилиси как вымело — все спасались на дачах. А этот врач сидел дома, работал... В субботу, у него это был приемный день, я пошел на дело. Один. С перевязанной щекой... В коридоре — пациенты. «Кто тут крайний?» — спрашиваю. Никто не отвечает. Такой вежливой очереди, как у зубного врача, не сыщешь нигде, каждый готов пропустить тебя вперед... Ладно. Присел я себе, молчу. Дождался, пока ушел последний пациент. А дело уже к вечеру, темнеет. Вдруг выходит из кабинета щупленький такой человек в белом халате с закатанными рукавами. Зажег в коридоре свет, увидел меня, кивком головы пригласил войти и вернулся в кабинет. Я вошел за ним. Врач молча показал на кресло. Я сел. От одного вида бормашины, щипцов и прочих живодерских инструментов меня прошиб холодный пот, — с детства не переношу таких вещей... Врач поправил прикрепленный ко лбу никелированный диск, снял с меня повязку, большим пальцем правой руки больно нажал мне на подбородок и заставил раскрыть рот.

— Ну-с, какой зуб у вас болит? — спросил он несколько удивленно.

* Солопаки — старое название одного из районов Тбилиси.

— Никакой! — промычал я и отвел его руку.

— Зачем же вы ко мне пожаловали?

— Как сказать...

— Товарищ, некогда мне с вами шутки шутить! Говорите, что вам нужно! — сказал врач строго и стал снимать халат.

Я встал с кресла и почувствовал, как у меня задрожали колени и отяжелели руки. На такое дело я впервые вышел один и теперь понял, что не так-то все это просто.

— Мне нужны деньги! — выпалил я. — И золото!

— Какие деньги? Какое золото? — ошалел врач.

— Бумажные деньги и червонное золото! — улыбнулся я.

— Да вы с ума сошли! — воскликнул он с искренним удивлением.

Отступить было поздно. Я распахнул пиджак и достал из-за пояса наган... Врач побледнел, пошатнулся и, чтобы не упасть, опустился в кресло.

— Подайте, пожалуйста, вон тот пузырек, — с трудом проговорил он, показывая пальцем на стеклянный шкафчик.

Я открыл шкафчик, взял пузырек, понюхал его и невольно улыбнулся: это был нашатырный спирт.

— Пожалуйста!

Заметив на моем лице улыбку, врач приободрился. Он понюхал из пузырька и стал торговаться:

— Сколько вы хотите?

— Я пришел не займы просить! — ответил я. — Гоните все и, если можно, побыстрее!

— Я буду кричать! — пригрозил врач.

— Кричите сколько угодно! Здесь живет зубной

врач, который дерет у людей зубы. Так что крик никого не удивит!

— Нет у меня ни денег, ни золота... — простонал он.

Время шло быстро, пора было кончать спектакль. Я взвел курок и направил револьвер на врача. Наган, помимо безотказности, обладает еще и тем преимуществом, что из его открытого барабана на вас с убийственной убедительностью глядят семь пуль. Изумительный эффект! Поэтому я всегда предпочитаю идти на дело с наганом в кармане. Мой расчет оправдался и на этот раз — врач сполз с кресла и повалился мне в ноги:

— Нет, нет! Вы не убьете меня!.. На черта нужны мне деньги, золото, серебро, платина!.. Берите!.. Вот деньги!

Он вскочил на ноги, подбежал к шкафу, извлек оттуда пачку сторублевков и бросил ее передо мной. Потом выдвинул ящик и достал несколько слитков золота:

— Вот вам золото! Берите!

После всего этого он схватил меня за руку и поволок в другую комнату.

— Вот золотые часы: мои, моей дочери, это — ее браслет, серьги, брильянтовое кольцо, здесь два карата, тридцать тысяч рублей! Возьмите, берите все! Все берите!

Я следовал по пятам за обезумевшим врачом, запихивая в карманы драгоценности. А он, покончив со шкатулками и ящиками, подбежал к буфету, распахнул обе створки и стал расхваливать товар не хуже директора комиссионного магазина:

— Вот хрустальная посуда, берите!.. Чешский хру-

сталь, ценится на вес золота!.. Фарфор баварский, саксонский, из антикварного магазина! Берите, все берите!..

Мною вдруг овладело отвращение и к этому жалкому человеку, и к самому себе. Дом, в котором я сейчас находился, показался мне грязной, смердящей свалкой, отвратительным зловонным болотом, которое вот-вот меня засосет. Я засунул револьвер за пояс, застегнул пиджак и направился к двери. Врач еще нес какую-то околесицу, но я его уже не слушал... И тут случилось то, чему не верит никто из моих дружков, а если и верят, то считают это непростительной глупостью с моей стороны...

В висевшем около двери огромном зеркале я увидел себя и сразу вдруг успокоился. Тебе это может показаться странным, но вид в зеркале собственного двойника действует на человека успокоительно. Мне довелось испытать это на себе: я не раз разговаривал с моим двойником, спорил с ним, даже дрался! И сейчас из зеркала на меня глядел мужчина, гораздо красивее, сильнее и смелее меня самого. Он как бы коснулся моего лба своей холодной зеркальной рукой, и прикосновение это оказалось умиротворяющим. Я подошел к зеркалу поближе и тут только заметил подсунутую одним краем под его раму в верхнем углу фотографию двух девушек. У меня помутилось в глазах. В одной из девушек я узнал собственную сестру — Лейлу!

— Кто эта девушка? — спросил я врача и сам не узнал своего голоса.

— Направо — моя дочь, Динара, а эта — ее университетская подруга Лейла Девдариани.

Схватив снимок, я бросил его на крышку рояля и стал извлекать из кармана награбленное.

— В чем дело? — оторопел врач.

— У вас никого не было! Никто ничего не брал!

Я разложил на рояле деньги, часы, серьги.

— К вам никто не приходил!

На рояль легли браслет, кольцо.

— Что вы, что вы... — бормотал изумленный врач.

А я продолжал выворачивать карманы пиджака, брюк.

— Это не наше! Это ваш портсигар! — залепетал врач. — Я не курю!.. И это кольцо не наше, вы его сняли с собственного пальца... И вот платок тоже ваш. И спички ваши...

Я механически рассовал по карманам возвращенные мне вещи и двинулся к двери.

— До свидания! — бросился за мной врач. — Вам нездоровится? Может, дать вам капли?

Не успел я взяться за ручку, как раздался звонок.

Я вздрогнул, быстро огляделся. Выпрыгнуть в окно? Невозможно! Окна в квартире врача, как и на всех тбилистских бельэтажах, были с толстыми металлическими решетками.

— Не бойтесь, не бойтесь! — засуетился перепуганный врач. — Это ничего! Вы только не волнуйтесь, ради бога! Я ничего не скажу, клянусь вам!.. Это, должно быть, сосед или пациент... Вот увидите, я ничего не скажу!..

Он открыл дверь...

— Вот видите, это моя дочь Динара! — воскликнул врач с неопишуемой радостью.

В белом платье с черным воротником и черным поя-

сом, с черными браслетами на руках, в дверях стоял... улыбающийся ангел!

— Здравствуйте! — сказал ангел.

...Девдариани умолк. Прошла минута, вторая, третья. В камере слышалось только мерное дыхание заключенных. Я с нетерпением ждал продолжения рассказа Девдариани, но он молчал. Может, он думал, что я заснул? Я несколько раз перевернулся с боку на бок. Девдариани молчал по-прежнему. Может, заснул он сам? Глупость!.. Так в чем же дело?

— Что же было дальше, Лимон? — не выдержал я.

— ...Тогда я уже не жил дома... — продолжал спуская некоторое время Девдариани. — Не жил целых два года... За эти два года мать трижды предавала меня анафеме в Дидубийской церкви... А Лейла, сестра моя, встречалась со мной тайком, чаще всего — в Ваке*, в круглом садике... Придет, бывало, обнимет, расцелует, а потом примется отчитывать, поносить на чем свет стоит. Кем и чем только меня не обзывала — вором, бродягой, убийцей собственной матери, змеей, эгоистом, животным, людоедом... А потом прижмется головой к моей груди и долго, долго горько плачет... Глупая, говорит, я девчонка, что прихожу сюда и вижу с тобой! Где моя честь, где мое самолюбие... Мать убьет меня собственной рукой, если только узнает. Видишь ли, мне кажется, Лейла смотрела на меня несколько романтически, она даже по-своему гордилась мною. Но мать... О, моя мать! Она урожденная Инал-Ипа! Гордячка!.. И все же я догадывался, что наши свидания происходили с ведома матери, что пока я с Лей-

* Ваке — район в Тбилиси.

лой находился в саду, она из какого-нибудь подъезда тайком за мной наблюдала. Я догадывался об этом потому, что Лейла никогда не уходила из сада первой. И еще потому, что Лейла каждый раз приносила мне белый хлеб и холодные котлеты, — я их обожал с детства, и мама отлично об этом знала...

Однажды в саду я спросил сестру, почему она не выходит замуж. «Потому, — ответила она, — что никто из наших парней не смеет даже заговорить со мной. Тебя бояться!..» А сестра у меня была красивой... Сейчас она замужем... Трое детей... Но как она ни была красива, а Динара была еще лучше...

Девдариани опять надолго умолк.

— Да не мучь ты меня! — взмолился я. — Говори, чем же все это кончилось?

— Кончилось... Кончилось тем, что, поддавшись чарам Динары, я пошел домой в день рождения Лейлы, в надежде встретить там ее... Было это двадцать девятого августа...

— Потом?

— Я пришел утром. Дверь отворила мне Лейла. Увидя меня, она с воплем бросилась в комнату. Потом я целый час валялся в ногах у матери, выпрашивая у нее прощение, обещал исправиться, начать новую жизнь... В общем, нес разные глупости... Потом я глядел на счастливое лицо матери и... Так было до вечера... Вечером пришли гости. Какие, собственно, гости — несколько девчат и парней, товарищи Лейлы. Некоторые из них знали меня и потому здоровались со мной кто боязливо, кто с удивлением... И вдруг появилась она! В том же наряде, что и в тот день... Вошла, как богиня, озарив комнату своим сиянием!.. С ней был

симпатичный парень в черном костюме и белоснежной сорочке. Динара держала в руках какой-то керамический предмет. Наши взгляды встретились. В ее черных как ночь глазах вспыхнуло сначала изумление, а потом неопиcуемый ужас. Она побледнела и с немым вопросом уставилась на Лейлу. А я... я стоял оцепеневший, онемевший, опустошенный...

— Знакомьтесь, это — мой брат Како, а это — моя подруга Динара с супругом, — донесся до меня голос Лейлы.

Я увидел, как керамический предмет выпал из рук Динары и разлетелся вдребезги у ее ног... Потом она закрыла глаза руками, повернулась и выбежала из комнаты...

— Дальше?! — прошептал я.

— Все! Это был конец... Дом опустел. Гости разошлись, почувствовав, что произошло что-то странное, но не поняв — что именно. Об этом знал я один и смутно догадывалась Лейла. Потом мать валялась у меня в ногах, умоляя не уходить из дому или же уйти, предварительно пристрелив ее с Лейлой и спалив дом.

— И ты все же ушел?

— Ушел.

— Скотина ты, Девдариани!

— Знаю... Слабовольнее вора нет человека на земле. Напрасно люди думают, что воры — народ сильный, с характером... У нас есть воля, но...

— Что но?

— Есть там, где она вовсе не нужна! — сказал Девдариани, отворачиваясь к стене.

ПРОШУ ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!

В зале был один-единственный человек — обвиняемый. Председательствующий печально оглядел пустующий зал, кашлянул в кулак и кивком головы пригласил обвиняемого сесть...

Тот сел.

— Суд заранее приносит глубокие извинения уважаемому обществу и обвиняемому за то, что он по весьма серьезным и уважительным, к тому же не зависящим от него причинам лишен возможности соблюсти все пункты процессуального кодекса, а следовательно, и полный ритуал судебного заседания. — Председательствующий отер рукавом выступивший на лбу пот. Зал безмолвствовал.

— Сегодня, — продолжал председательствующий, — двенадцатого августа сего года, рассматривается дело по обвинению Исидора Иосифовича Саларидзе в преступлении, предусмотренном сто четвертой статьей Уголовного кодекса Грузинской ССР.

Председательствующий сел.

— Обвиняемый, встаньтс!

Саларидзе встал.

— Фамилия?

— Саларидзе.

— Имя, отчество?

— Исидор Иосифович.

— Возраст?

— Рожден в шесть часов утра одиннадцатого мая тысяча девятьсот десятого года, в городе Хашури.

Имею высшее образование. Владею грузинским, русским, французским и немецким языками. По профессии экономист. Работал в Статистическом управлении, женат. Жена скончалась в тысяча девятьсот шестидесятом году. Имею дочь и внуку. Жил на Вашлованской улице, номер сто пятьдесят один. Член партии с тысяча девятьсот тридцатого года.

— Были членом партии, — поправил председательствующий.

— Был и есть! — повторил Саларидзе.

Председательствующий не возражал.

— Обвиняемый Саларидзе, получили ли вы обвинительное заключение и когда?

— Получил в прошлую субботу.

— Ознакомились ли вы с обвинительным заключением?

— Да, ознакомился.

— Признаете ли себя виновным в предъявляемом обвинении?

— Нет!

Ответ был для председательствующего явно неожиданным. Он обвел растерянным взглядом сидевших рядом с ним за длинным деревянным столом людей. Те утвердительно кивнули головой. Тогда председательствующий обратился к пустому залу:

— Приступаем к судебному разбирательству. Дело рассматривает Верховный суд в следующем составе: председатель — Накашидзе, государственный обвинитель — Девдариани, народные заседатели — Гулоян и Гоголадзе.

Объявив состав суда, председатель умолк и долго пристально смотрел на сидевшего на табуретке подсудимого — съезжившегося, словно продрогший воробей, старика с припухшими веками и мешками под глазами.

— Подсудимый Саларидзе, у вас нет отвода в отношении состава суда?

— Нет! — привстал Саларидзе.

— Имеете какие-либо претензии?

— Нет!

— При предварительном следствии вы отказались от защиты?

— Так точно!

— Может, желаете, чтобы суд назначил вам защитника?

— Никак нет!

— В таком случае прошу вас дать суду показания по предъявленному вам обвинению и известным вам обстоятельствам дела!

Председатель оперся локтями о стол, положил голову на скрещенные ладони, закрыл глаза и приготовился слушать.

— Около часу ночи меня разбудил протяжный звонок, — начал Саларидзе. — Я понял — вернулся зять. Дочь, видимо, спала: звонок звонил не переставая. Наконец послышался звук открываемой двери и голос зятя — он вошел, что-то напевая.

— Завалилась? Не ждешь меня? — рявкнул он задиристо и грохнул чем-то об пол.

— Не шуми, ради бога, люди спят. Поздно уже, иди ложись! — спокойно ответила дочь.

— Люди? Какие люди? Ах, твой папаша-экономист, да?

— И ребенок спит.

— Ребенок мой! Хочу разбуду, хочу — нет!

Зять все расхаживал по прихожей. Я понял — он опять пьян. Потом они ушли к себе в комнату, в комнату моей дочери и зятя. Я слышал громкие голоса, однако слов не разбирал. Дочь о чем-то просила, угovarивала его, а он все более расходился, орал, ломал какие-то вещи. Несколько раз жалобно вскрикивала дочь, потом заплакал ребенок. Не было сомнения — он избивал мою дочь!.. Я не мог больше терпеть. Встал, зажег свет и пошел в комнату дочери и зятя. Дочь сидела на кровати, утирая одной рукой сочившуюся из разбитой губы кровь, а другой поглаживая по головке ребенка.

— Убью вас, неблагодарные, мать вашу!.. — орал зять. — Убирайся отсюда! Убирайся, старый хрыч, мать твою!.. — завопил он еще громче, увидя в дверях меня.

Я подскочил к нему и дал затрещину. Сперва он оторопел от неожиданности, а потом ударил меня. Удар был очень сильный. Я упал на пол. Дочь с криком бросилась ко мне.

— Животное! Зверь! — рыдала она, суется надо мной.

— Дедушка-а! — ревела внучка.

Я кое-как поднялся, пошатываясь, прошел в свою комнату, снял со стены охотничье ружье двенадцатого калибра и вернулся. При виде ружья зять вздрогнул.

— Уходи из моего дома! — сказал я.

— Брось ружье! — крикнул он.

— Убирайся из моего дома! — повторил я.

— Брось ружье, старый идиот! — заорал он и двинулся на меня.

У народного заседателя Гулояна от волнения взбухли жилы на шее и на лбу, он порывисто поднялся. Государственный обвинитель Девдариани насилу усадил его. Председатель грыз ногти.

— Я направил на него ружье, уставив дуло в живот, и взвел оба курка, — продолжал подсудимый. — Он схватился за ствол и стал вырывать ружье из моих рук. Я спустил курки... Выстрелов я не слышал. Я увидел лишь, как упала без чувств моя дочь и как хлынула кровь изо рта зятя. И увидел еще обезумевшие глаза внучки... Все происходящее казалось мне сном; и не было в тот миг человека на свете, кто бы сумел убедить меня в обратном.

— Почему? — спросил председатель.

— Дело в том, что ружье не было заряжено! — Подсудимый вздохнул глубоко и с облегчением, словно кто-то снял с его плеч непосильную ношу.

Изумленный суд молчал.

— Как же это? — прошептал наконец председатель.

— Ружье не было заряжено! За два дня до этого я собственными руками чистил его! Ружье не было заряжено! — твердо произнес подсудимый.

— Кто же его зарядил?

— Мой зять.

— Кто вам это сказал?

— Он сам. Перед смертью, лежа на моих руках, он сказал мне об этом глазами... Я понял. Никто другой не понял бы, но я понял!

— Кто может подтвердить ваши слова?

— Никто!

— Дальше?

— Дальше все происходило без моего участия...
Я ничего больше не знаю.

— У вас есть что добавить к сказанному?

— Ничего.

— Подумайте!

— Мне нечего добавить к сказанному.

Председатель пожал плечами и взглянул на государственного обвинителя. Тот недоуменно развел руками.

— Может, вспомните какую-либо деталь? — настаивал председатель.

— Какую деталь? — не понял подсудимый.

— Деталь, обстоятельство, оправдывающее вас!

— Нет таких обстоятельств.

— В таком случае, — обратился председатель к пустому залу, — позвольте предоставить слово государственному обвинителю, прокурору Девдариани. Прошу!

Прокурор приступил к допросу подсудимого:

— Подсудимый Саларидзе! Вы полагали, что ружье не заряжено? Так?

— Так точно.

— Объясните, зачем же, в таком случае, оно вам понадобилось?

— Чтоб напугать зятя.

— Вы были уверены, что можете незаряженным ружьем напугать зятя?

— Нет, пустым ружьем его нельзя было напугать!

— И все же вынесли ружье?

— Он должен был подумать, что ружье заряжено.

— Какое это для вас имело значение? Вы-то знали, что это не так?

— Я был уверен, что он испугается и попросит прощения.

— Но этого не случилось?

— Нет.

— А если б он извинился, вы простили бы ему оскорбление дочери и вас самих?

— Простил бы в том случае, если б увидел его на коленях! — ответил Саларидзе после продолжительного молчания.

— Саларидзе! Ваш зять не испугался ружья. Он пошел на вас. Следует ли из этого, что он был уверен в безопасности оружия, то есть знал, что ружье не заряжено?

— Так точно!

— Зачем же вы взвели курки? С какой целью? Ведь вы оба знали, были уверены, что ружье не выстрелит?

— Я... Я предпринял последнюю попытку...

— Саларидзе! Зять знал, что ружье для него не представляет никакой опасности... Оно не заряжено... Почему же он потребовал бросить его?

— Не знаю.

— Спуская курки, вы были уверены, что ружье не выстрелит?

— Безусловно!

— Зачем же вы спустили курки?

— Механически...

— Итак, вы знали, что выстрела не последует. Что вы намеревались предпринять дальше?

— Не знаю...

— Зять мог отнять у вас ружье? Как вы думаете?

— Да.

— Саларидзе! Допустим, вы бы знали, что ружье за-

ряжено. Спустили бы вы тогда курки? Повторяю вопрос: если б вы знали, что в стволах ружья лежат патроны... произвели бы вы в таком случае выстрел?

Саларидзе попросил воды. Отпив глоток и облизав пересохшие губы, он отрицательно покачал головой, но произнес:

— Не знаю...

— Саларидзе! Думали ли вы раньше, до этого случая, что вы способны убить?

— По-моему, нет человека, кто бы не задумывался над этим!

— И к какому вы приходили выводу?

— Вывод не имеет значения, а факт налицо: мой зять мертв!

— Нас интересует — это было умышленное или неумышленное убийство, — проговорил про себя прокурор, а затем продолжал громко: — Саларидзе! Еще один вопрос: пользовался ваш зять ружьем?

— Да, пользовался.

— Не предупредил ли он вас в последнюю минуту, в самую последнюю секунду, что ружье заряжено?

— Нет! Нет! — воскликнул Саларидзе. — Это он сказал потом, сказал глазами, понимаете?! Он умирал у меня на руках и сказал об этом мне, только мне! Мне сказали правду его глаза!

Саларидзе закрыл лицо руками и застыл...

— Уважаемый председатель! У меня больше вопросов нет.

— Нет ли вопросов у уважаемых заседателей? — спросил председатель.

Гуляян отрицательно покачал головой. Гоголадзе утвердительно кивнул.

— Пожалуйста, прошу вас!

— Подсудимый Саларидзе! Возвращался ли домой до того дня ваш зять в пьяном виде и в позднее время?

— Да, такие случаи бывали.

— В ваших показаниях есть такие слова: «Не было сомнения — он избивал мою дочь!» Не хотели ли вы сказать этим, что ваш зять бил жену и до этого случая?

— Не знаю... Насчет избиения — не знаю... Но за последнее время он часто пил, скандалил, дебоширил, вообще в пьяном виде вел себя отвратительно!

— Уточните: часто пил, часто скандалил или часто бил?

— Я уточняю: пил, скандалил, вел себя по-хамски! Что здесь непонятного!

— Подсудимый Саларидзе! Вы напрасно нервничаете! Мы хотим установить облегчающие вашу вину обстоятельства, поэтому не обижайтесь, если мы задаем вопросы, даже незначительные! Все, что здесь делается, — в вашу же пользу! — объяснил заседатель Гоголадзе.

— Благодарю вас! — нервозно ответил Саларидзе.

— Вот именно, вы должны быть благодарны нам! А теперь скажите, что значит: «за последнее время»?

— Не понял вас!

— Вы заявили: «За последнее время он часто пил, скандалил...» Что вы подразумеваете под выражением «последнее время»: год, два года, позавчера, вчера?

— Год, примерно год, как это началось...

— А что же с вашим зятем произошло год тому назад? Почему он вдруг стал пить и скандалить?

— Не знаю!

— В своих показаниях вы дважды произнесли «ком-

ната моей дочери и зятя». И вообще, вы называете сперва дочь, а потом зятя.

— Да, это так.

— Почему?

— Потому что дочь — моя дочь, а комната это ее, дочери, а он перебрался к нам после того, как стал ее мужем.

— Так. Понятно.

— Что значит — понятно! — взорвался Саларидзе. — А как, по-вашему, я должен называть комнату в моем доме — «комната зятя»?! Это, по-вашему, было бы правильнее?!

— Было бы правильнее назвать так: «их комната». Саларидзе вздохнул.

— Еще вопрос. Вы сказали государственному обвинителю, что крикнули зятю: «Убирайся из моего дома!» Так?

— Да, так!

— Тем самым вы намекнули своему зятю на то, что он живет не в собственном, а в чужом, то есть в вашем, доме?

— Это он знал без моих намеков!

— Значит, в чужом доме, да?

— Пока я жив, мой дом будет называться моим домом! А после моей смерти... — Саларидзе вдруг осекся, поняв, что сказал нечто глупое и ненужное... А председатель, не дав ему опомниться, продолжал с видом победителя:

— А не кажется ли вам, Саларидзе, что такая ваша позиция послужила причиной пьянства и хамского, как вы говорите, поведения вашего зятя?

— Нет, не кажется! — упрямо ответил Саларидзе.

— Что же, в таком случае? Может, друзья?

— Нет!

— Женщины?

— Нет!

— Может, он завел любовницу?

— Нет!

— Перестал заботиться о семье?

— Нет!

— Что же тогда, что?

— Деньги!

— Что? — Лицо Гоголадзе перекошилось от удивления.

— Деньги!

— Ничего не понимаю...

— Год тому назад мой зять был отличным парнем, уважаемым, спокойным, что называется, тише воды, ниже травы... Но вот однажды он вернулся домой навеселе, стал посреди комнаты с несколько смущенным, но вместе с тем победоносным видом и небрежно бросил на стол пачку двадцатипятирублевых.

— Что это? — спросила дочь.

— Моя доля! — ответил зять. Дочь унесла деньги в свою комнату.

— Откуда это? — спросил я.

— Из тигриного зада! Так он и ответил мне, уважаемый народный заседатель! — обернулся Саларидзе к Гоголадзе. Тот промолчал. — Вот с того дня и началось крушение нашей семьи... Спустя неделю зять выразил во время обеда недовольство, что за столом нет хашламы*. Потом он как-то заявил, что плевал на та-

* Х а ш л а м а — мясное блюдо.

кую семью, где в подвале не сыщется хотя бы тонна вина, дюжина ящиков «Боржоми», две дюжины пльзенского пива да сотня сушеной воблы. В следующий раз, когда он снова принес деньги и я опять спросил — откуда они, он по-прежнему сослался на тигриный зад и добавил, что я только напрасно занимаю свою место на работе и что вообще мое поколение не умеет жить...

— Минуточку! — прервал подсудимого председатель. — А спрашивала ли ваша дочь у мужа, где и как он добывает деньги?

— К несчастью, об этом жены мужей не спрашивают!

— Дальше? — спросил председатель.

— Я предостерег его, что в один прекрасный день он попадет за решетку и с него спросят за все. Он ответил на это, что все мы давно уже арестованы и отбываем наказание, только не чувствуем этого... Когда же я возразил, что отнюдь не отбываю никакого наказания и спокойно сплю, потому что не совершаю бесчестных поступков, он рассмеялся мне прямо в лицо.

— Почему так?

— «Давление сто восемьдесят на сто, острая стенокардия, отложение солей, бронхиальная астма, эмфизема! Я и твоя дочь с минуты на минуту ждем твоего конца! И это ты называешь спокойным сном?» — вот как он ответил мне... Затем вдруг обнаружил, что у моей дочери, оказывается, низкая талия, редкие зубы и некрасивый нос, что она, наподобие своих подружек, сплетница и провинциалка и что читает она ночи напролет лишь для того, чтобы производить на людях впечатление умной, начитанной женщины... Ни я, ни моя дочь ни разу не напомнили ему, что в наш дом он явился в за-

латанных брюках, рваных туфлях и перелицованном пиджаке и что на работу, откуда он сейчас таскал эти проклятые деньги, он пошел в моих брюках.

— У людей плохая память! — вставил председатель.

— Наоборот, память у людей настолько хороша, что они не забывают забыть все, абсолютно все!

— Оглядываться никто не любит. Люди боятся, как бы, оглянувшись, не провалиться в яму, — произнес прокурор.

— Поэтому, прежде чем оглянуться, следует остановиться. Нельзя огладываться и бежать вперед одновременно! Тем более, если впереди — яма, колодец, пропасть... Понятно? — спросил подсудимый.

— Подсудимый Саларидзе! Вопросы здесь задаем мы! — напомнил председатель и сам же смутился.

— О, да, извиняюсь! — спохватился Саларидзе.

— Продолжайте!

Подсудимый задумался, припоминая, на чем он остановился, потом продолжал:

— Однажды он с сожалением констатировал, что моя дочь похожа на меня... Он деградировал с катастрофической быстротой... Приносил домой уйму продуктов, одежды, обуви. Только за полгода купил жене три шубы, десяток сапог, сапожек и туфель, целую дюжину платьев, дорогие кольца, браслеты... Все это он приносил обычно пьяный и швырял прямо на пол. Я забеспокоился не на шутку. Но первой ему выразила свои опасения моя дочь. И вот тогда-то она и была впервые избита... Как-то ночью он изрезал все шубы и платья жены, изрубил все ее сапоги и туфли и ушел из дому... Спустя месяц появился в сопровождении товарищей, плакал, клялся и принес крупную сумму денег...

Дочь моя таяла на глазах. Она стала избегать меня, а когда мы встречались, старалась притворяться счастливой и беззаботной. В такие минуты мне хотелось плакать, хотелось умереть, потому что она была похожа на сумасшедшую, свыкшуюся со своим недугом и довольную своей судьбой... Это повторилось дважды — дважды он избивал ее... А я сидел в своей комнате уничиженный, униженный, оскорбленный, поруганный, сплеванной душой... Я не отпускал от себя внучку, старался оградить ее от страшной драмы, происходившей в нашем доме, но это было бесполезно... Ребенок понимал все, понимал больше, чем я, ибо он хотел знать все, что творилось там, в комнате матери и отца... Так длилось до того дня... В тот день он избил ее в третий и последний раз... Все кончилось... Больше я ничего не знаю... — Подсудимый сел и не вставал до тех пор, пока ему не было предоставлено последнее слово.

— Не желают ли уважаемый государственный обвинитель или уважаемые народные заседатели дополнить судебное разбирательство, а если желают, чем именно? — спросил председатель, не поднимая головы.

— Нет!

— Нет!

— Нет!

— В таком случае позвольте считать судебное следствие законченным и предоставить слово государственному обвинителю. Прошу! — обратился председатель к Девдариани.

Девдариани встал.

— Уважаемые товарищи! Уважаемый председатель суда! Уважаемые народные заседатели!

В незапамятные времена, когда человечество находи-



лось в стадии каннибализма, убийство человеком человека имело в глазах людей оправдание. Но теперь мы больше не едим человечину, и подобное деяние мне представляется совершенно непростительным и не подлежащим оправданию. На нынешней высокой ступени цивилизации, когда созданы комитеты и общества защиты прав не только человека, но и собак, кошек, мышей, рыб, птиц и даже, представьте себе, пресмыкающихся, убийцу человека с полным правом можно назвать каннибалом-людоедом! В доисторическую эпоху было известно не более трех орудий убийства — кулак, дубина, камень. Затем, с развитием цивилизации, произошла фантастическая эволюция и модернизация этих способов. Все, начиная с патефонной иголки и кончая водородной бомбой, стало служить этому, можно подумать, неотложному и необходимому делу — убийству человека! На сегодняшний день существует столько способов убийства, сколько и людей на этой грешной земле, и среди них поистине парадоксальный способ, ставший предметом настоящего заседания, а именно — убийство с помощью незаряженного ружья! — Прокурор обвел взглядом пустой зал, словно желая уловить реакцию присутствующих, но, встретив лишь удивленные глаза подсудимого, опустил голову и продолжал: — Было бы наивно надеяться, что электрический стул, виселица и пуля способны положить конец убийствам. Убийство — это такая категория насилия, против которой бессильна сама смерть! Что же касается случайного, неумышленного убийства, то оно так же неизбежно и вечно, как и естественная смерть. Поэтому мне кажется, что в отношении неумышленного, случайного убийцы общество должно ограничиваться порицанием,

осуждением и другими аналогичными мерами нравственного воздействия. Но... увы! Не исключено, что человек научится выдавать умышленное убийство за убийство неумышленное! И этим не преминут воспользоваться, злоупотребить профессиональные убийцы! Это страшно!..

Я не берусь утверждать, что рассмотренный сегодня факт убийства — беспрецедентен, но он довольно оригинален, ибо создает достаточно убедительную иллюзию неумышленного, случайного убийства. А между тем этот случай более опасен, чем признанное преступником умышленное убийство. Почему? — спросите вы. Потому, что при рассмотрении дела об умышленном убийстве коэффициент возможности вынесения несправедливого приговора почти сведен к нулю. Тогда как из ста приговоров по делам о неумышленных убийствах пятьдесят являются спорными, а такой приговор может оказаться для осужденного несправедливым, пагубным, роковым... Причем допущенная ошибка может оказаться роковой в одном случае для осужденного, а в другом — для общества...

Как следует поступать в таком случае?

На чем надо остановить выбор?

Кому должно быть отдано предпочтение — обществу или личности?

Взгляд на прошлое человечества не даст нам определенного ответа, ибо в истории это примерно сбалансировано. История знает немало примеров того, как в жертву интересам общества приносились великие личности, гениальные умы, выдающиеся таланты. И, наоборот, известно много случаев, когда по прихоти или глупости одной личности, в угоду ее капризам и страстям

гибли города и целые страны, народы и цивилизации... Трудно сделать выбор... Я лично ненавижу убийцу хотя бы потому, что он использует свое преимущество, — он может убивать, а я не могу! Я ненавижу всякое кровавое насилие, я считаю величайшим преступлением насильственное лишение человека дарованной ему богом жизни, да и не только жизни вообще, — но хотя бы одного ее дня! И эта ненависть во мне настолько сильна, что я все же делаю один-единственный выбор: я, Како Девдариани, как гражданин и как государственный обвинитель, требую: признать подсудимого Саларидзе виновным в предъявленном обвинении и приговорить его к высшей мере наказания, предусмотренной сто четвертой статьей Уголовного кодекса Грузинской ССР, — к расстрелу.

Прокурор закончил свою речь. Он сел, заметно побледневший, и долго не мог зажечь папиросу — у него дрожали руки. Не менее взволнованный председатель растерянно взирал на заседателей. Гуляян нервно грыз ногти. Гоголадзе, раскрыв от удивления рот, испуганно смотрел на Девдариани. И лишь сам подсудимый не проявлял никакого волнения. Закрыв глаза и опустив голову, он медленно раскачивался на стуле и, предавшись своим думам, казалось, совершенно не интересовался происходящим.

— Саларидзе! — обратился к нему председатель.

Тот не откликнулся.

— Саларидзе! — повторил председатель громче.

Саларидзе поднял голову.

— Подсудимый Саларидзе, вам предоставляется последнее слово!

Саларидзе с минуту смотрел на председателя отсут-

ствующим взглядом, затем кивнул головой и встал.

— У меня нет последнего слова! — Голос его звучал тихо. — У меня есть лишь одна просьба. Пять месяцев тому назад, в доме номер сто пятьдесят один по Вашлованской улице, я оставил двух рыдавших над гробом людей — свою дочь Нателу и внучку Мэги. Я заклинаю вас, ребята, именем ваших матерей, заклинаю всем святым для вас на свете: если вам когда-нибудь суждено выйти отсюда, присмотрите за ними!.. Больше мне нечего сказать...

Он сел и закрыл глаза...

Председатель протер глаза, проглотил подступивший к горлу соленый комок, встал и объявил:

— Суд удаляется для вынесения приговора!

— Подожди, Накашидзе! — вскочил Гуляян. — Подожди! Не будет никакого приговора! — Он вдруг обернулся к Девдариани: — Ты что это натворил, Лимон?! Значит, нет на свете ни справедливости, ни сострадания?! Где твое сердце, Лимон? Где твоя человечность?! Где твое хваленое правдивое слово? Что ты наделал, Лимон?!

— Тигран, ведь это все спектакль, игра, представление! — возразил смущенный Девдариани.

— Какой спектакль?! Какая игра?! Что же ты тогда называешь настоящим судом?! Ведь ты на наших глазах убил человека! Посмотри, посмотри на него! — в крайнем волнении выкрикивал Гуляян.

— Кончай базар, Тигран! Хватит тебе! — прикрикнул на него Девдариани.

— Нет! Не будет приговора! — твердо заявил Тигран. Он подошел к Саларидзе, присел перед ним на корточки и взволнованно заговорил:

— Ты не бойся, дядя Исидор! Ничего с тобой не случится! Ты не обращай внимания на Лимона! Лимон — сумасшедший! Не сойдет же с ума и суд?! Не бойся! А нет, так я возьму на себя убийство твоего мерзавца-зятя! Я буду отвечать! Мне-то все равно — что за одного, что за двух! Слышишь, дядя Исидор? Ты так и скажи на суде, что его убил я, Тигран Гулоян! — Растроганный, заплаканный Тигран, словно ребенка, уговаривал и успокаивал Исидора, а тот нежно гладил его по голове и тоже плакал. И вместе с ними плакали председатель суда Накашидзе, государственный обвинитель Девдариани и народный заседатель Гоголадзе...

...— Встаньте! Проснитесь! Встаньте! — услышал я сквозь сон чей-то голос.

— Накашидзе, вставай! Девдариани, Гулоян, Гоголадзе, вставайте! — настойчиво повторил голос. Я понял, что это не сон, и быстро присел на нарах. Проснулись и остальные.

Посередине камеры, в одном белье, словно видение, стоял Исидор.

— Проснулись? — спросил он.

— В чем дело, дядя Исидор? — спросил я в недоумении.

Исидор опустил голову и молчал минут пять, показавшихся мне пятью часами. Такого жуткого, потрясающего молчания я еще никогда в жизни не слышал. Меня объял ужас. Оцепеневшие, бледные стояли и остальные. Никто не осмеливался произнести слова. Наконец Исидор выпрямился и изменившимся до неузнаваемости, чистым, спокойным, проникновенным голосом начал:

— Испокон веку флаг был белым... Белый цвет — благороднейший из всех цветов на земле, и белый флаг — флаг благороднейшего цвета... Своей белизной, своей чистотой флаг олицетворял мир, любовь, братство и милосердие... На протяжении многих веков белые флаги ждут, требуют своего... Как белые снежные вершины, должны возвышаться над миром белые флаги... Огромный белый флаг — этот символ всеобщего мира, любви и добра — должен развеяться на вершине Джомолунгмы... Один огромный белый флаг!.. А теперь, — добавил Исидор после небольшой паузы, — ложитесь и спите, друзья мои!

Разинув рты, мы молча смотрели на Исидора. А он, кивнув то ли одобрительно, то ли недовольно головой, повернулся, пошел к нарам и лег...

...Я долго не мог сомкнуть глаз. Потом забылся мертвым, без сновидений сном.

Утром нас разбудили громкие вопли Шошиа:

— Бандиты, убийцы, сволочи, развратники! Вставайте! Смотрите!

Мы повскакивали, словно сумасшедшие.

Исидор лежал на нарах с удивительно спокойным, белым как полотно лицом, с широко раскинутыми руками. Вены на обоих его запястьях были вскрыты. Бритва Тиграна лежала под правой его рукой, а на полу чернела лужа сгустившейся крови.

Меня прошиб холодный пот...

— Это мы виноваты! — сказал Шошиа.

— Нет, это виноват я! — сказал Тигран.

— На его месте я поступил бы так же! — сказал Девдариани. Потом он подошел к двери и с остервенением забарабанил в нее кулаками.

НЕ УЛЕТАЙ, ШОШИА!

Три дня Тиграна Гулояна водили на суд. На четвертое утро он попросил Шошиа:

— Шошиа, чует мое сердце, что вижу я вас последний раз... Будь другом, спой...

Шошиа закрыл глаза и запел. Как он пел, бродяга! Казалось, вот-вот заплачут каменные стены тюрьмы!..

Вечером Тигран в камеру не вернулся. Пришел надзиратель, забрал его вещи. Мы поняли, что суд закончился. Что стало с Тиграном, сколько ему присудили, куда послали, узнать нам не удалось. Ночью Девдариани перестукивался с камерой осужденных, — безрезультатно.

Утром увели на суд Девдариани, и больше мы его не видели.

В камере остались я и Шошиа.

Терпение у Шошиа почти иссякло, нервы у Шошиа надорвались, потому-то, видно, он и распахнул сегодня передо мной тайники своего сердца и дал мне в них заглянуть...

...Отец Шошиа, Климентий Глахунович Гоголадзе, погиб ранним утром 13 января 1925 года в городе Самтредиа, в результате рождения своего единственного сына — Шошиа. Да, да, не удивляйтесь, именно в результате рождения сына! Когда повивальная бабка сообщила старшему Гоголадзе о появлении на свет его первенца, ошалевший от радости отец бросился в комнату и снял со стены бездействовавшую годами кремневку... Ружье разорвалось в руках Климентия Гоголадзе, а его самого разнесло в куски...

Спустя ровно год мать Шошиа, Мариам, усадив за стол собравшихся на поминки родственников и соседей, тихо вышла на балкон, заперла дверь снаружи и, облив оду* керосином, подожгла ее. Перепуганным насмерть поминальникам с трудом удалось спастись через окна. В тот же день родственники отца забрали Шошиа в Тбилиси, а лишившуюся рассудка Мариам отправили в психиатрическую больницу...

В высшем учебном заведении Шошиа не учился. Не потому, что он был лентяем или глупым. Нет, Шошиа был сиротой. И, кроме того, там, где он работал, никто с него не требовал высшего образования. Главное, надо было уметь считать, и Шошиа научился отлично считать — до десяти, до ста, до тысячи, до миллиона и выше...

Шошиа некрасив. Разве можно назвать красивым мужчину, похожего на скворца? Вот если б он был скворцом, то, безусловно, слыл бы за красивого скворца... Однако с тех пор, как Шошиа научился считать до миллиона и выше, он и похорошел, и поумнел. Он окончил больше, чем два высших учебных заведения. Он женился на красавице, и дети у него родились писанные красавцы. Он обзавелся автомобилем, дачей, а потом и любовницей — Сиран.

Что же произошло?

Шошиа нашел волшебный камень?

Нет. Шошиа поймал золотую рыбку! «Отпусти меня, — взмолилась золотая рыбка, — и я выполню все твои желания!» «Нет, — отвечал недоверчивый Шошиа, — сперва выполни мои желания, а потом я отпущу

* О да — деревянный жилой дом.

тебя!» «Хорошо, — ответила золотая рыбка, — выкладывай твои желания!» И пошло, и пошло!.. Желаниям Шошиа не было предела. Раз начав, он не смог остановиться... Желания следовали одно за другим. Шошиа уже и забыл про золотую рыбку, а она возьми да и сдохни в один прекрасный день!

Теперь у Шошиа только одно желание. Одно главное желание. Все остальные его желания вытекают из этого, главного. Родилось оно давно — когда Шошиа лежал навзничь на нарах и наблюдал, как паук по собственной паутинке спускался с потолка... Вот тогда и захотелось Шошиа превратиться в паука. Хотя бы на час! Но потом он передумал. Во-первых, час — это мало. Ведь надо по паутинке спуститься с пятого этажа, пересечь двор, войти в административный корпус. Там вечно толкается народ, чего доброго, кто-то наступит на паука ногой и раздавит... Поэтому придется ползти по стенам, добираться прямо до ворот... Нет, одного часа не хватит, понадобится не менее двух часов!.. Во-вторых, не вечно же ему оставаться пауком? Что это за жизнь — паучья? Вот если б превратиться в скворца! Расправил бы тогда Шошиа крылья и полетел бы куда душе угодно!.. И если даже придется на всю жизнь остаться скворцом, — ничего страшного! Пусть он будет скворцом! Он станет по нескольку раз в день прилетать домой, любоваться детьми... А вдруг его убьют?! Очень просто! Пальнет кто-нибудь из ружья, или, чего доброго, свои же дети укокошат из рогатки! Да нет, глупости! Где это видано, чтобы убивали скворцов! Наоборот, им строят скворечники, их кормят... А впрочем, к черту пауков и скворцов! Шошиа хочет быть человеком! Человеком! Дайте, дайте Шошиа волю, выпустите его

отсюда, и он начнет новую жизнь! Шошиа переменит имя, фамилию, Шошиа родится заново!..

Увы! Для того, чтобы родиться заново, человек прежде должен умереть... Увы! Шошиа не знает этого...

— С добрым утром, мой Тбилиси дорогой!
 Хочешь знать — откуда плач и ропот мой?
 Подружился, горемыка я, с тюрьмой...
 Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
 Бьет, гудит сионский колокол святой,
 Простираю к нему руки я с мольбой...
 Предан был я другом верным — не судьбой!..
 Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
 Мтквари-матушка, великая река!
 Глупо угодил я в сети рыбака!
 Пожалей же ты беднягу-бедняка!
 Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
 Путь окончен мой, могилу вижу я,
 Тяжкий грех я уношу с собой, друзья!
 День и ночь я проклинаю сам себя...
 Бедной пташке дайте, люди, крылья!..

Сидит Шошиа на своей галерке и поет. Шошиа мечтает о крыльях. Но где их взять, крылья? В наши дни крыльев нет у самих ангелов, кто же их даст Шошиа? Знает, знает об этом Шошиа, и все же он поет... Если бы сейчас здесь был Тигран, он наверняка придрался бы к Шошиа, что эти стихи принадлежат Этому Гурджи*, но написаны-де они вовсе не так. Шошиа и об этом хорошо известно. Но он все же поет, потому что Этим-Гурджи плакал о своем, а Шошиа плачет о своем...

— Шошиа, будь человеком, перестань нюнить и

* Э т и м-Г у р д ж и — тбилисский поэт-ашуг.

хныкать, спой или Расскажи что-нибудь веселое! —
прошу я.

— До ареста у меня было одно место на Майдане... Из грузин лишь я да еще несколько человек о нем знали... Раньше я не стал бы рассказывать тебе, а теперь чего уж скрывать... Так вот, выйдешь отсюда, сходи обязательно! Назови мое имя — откроют в любое время дня и ночи...

— Да кто меня отсюда выпустит, Шошиа?

— Тебя выпустят!

— Почему ты так думаешь!

— Потому что нет на свете тяжелее греха, чем держать в тюрьме невинного человека!

— Я не первый, не последний, Шошиа!

— Это верно. Половина всех узников в мире сидит без вины... По крайней мере, попались они случайно... А тебя, вот увидишь, отпустят не сегодня, так завтра! — заверил меня Шошиа таким тоном, словно решение о моем освобождении лежало у него в кармане и он скрывал его лишь из боязни остаться в камере один.

— Твоими бы устами да мед пить! — обрадовался я.

— Так вот, про Майдан... Было у меня там одно местечко... Около пестрых бань, если идти отсюда — по левой стороне. Одноэтажный дом, деревянные ворота выкрашены в голубой цвет. Внутри — крохотный, с николаевский пятак, дворик... Хозяина зовут Азиз. Запомни: Азиз, татарин... Он там содержит собственную чайную... С девочками!.. Поверь, я ходил туда исключительно ради чая... И днем, и ночью... О, настоящий чай! Ты не знаешь, что такое настоящий чай! Но сейчас не об этом речь. Есть у Азиза одна комната, где он принимает клиентов...

— Как же так! — удивился я. — Человек имеет частную чайную, не чайную, а бордель, и никто его не трогает?!

— Эх, дорогой мой, сколько я там видел людей, кому именно и положено ловить таких частников... Нам бы с тобой столько червонцев... — произнес Шошиа мечтательно.

— Не верю!

— Поспорил бы я с тобой, да где тебя потом искать!.. Говорю, выйдешь отсюда, сходи к нему, сам увидишь... Учти только, чай у Азиза чуть дороже того, что продают в чайной напротив университета. Понял?

— Понял...

— В той комнате — пять маленьких столиков. Каждый столик — на двоих, на парочку... Над каждым столиком висит клетка с канарейкой. Пять клеток... И каждая канарейка берет не меньше пяти октав, а то и больше. Цена такой канарейке от ста пятидесяти до двухсот рублей... Ты, наверно, слышал — соловей в году поет три месяца, начиная с мая. А канарейка поет круглый год! Теперь представь себе эту комнату. Полумрак... Воздух пропитан ароматом чая, восточных пряностей и сигаретного дыма... В комнате тепло... Поют канарейки... Чай, канарейка и... любовь. А? Представляешь себе? Ничего слаще я не видел. Это был рай... Уходя, я оставлял Азизу, лично Азизу, сто рублей... Не вздумай только спрашивать — откуда да каким образом я доставал деньги... Доставал! Ведь терпят верующие? Мучаются и терпят. А зачем? Чтобы после смерти попасть в рай! И я терпел, мучался, из кожи лез вон, чтобы попасть в этот рай. Ну, ладно... Канарейки, зна-

ешь, они до того привыкают к клетке, если выпустить — умрут! Потому что не в состоянии прокормить себя. Если даже найдется канарейка, способная найти себе корм, все равно она погибнет, — сожрет кошка. А почему, знаешь? Потому что поющая канарейка забывает обо всем на свете. Она поет, закрыв глаза, ничего не замечая вокруг себя. И кошка легко подбирается к ней... Одним словом, канарейка и клетка — неотделимы. Но и в клетке канарейки умирают. Азиз жаловался мне, что его канарейки умирали через два-три месяца, — не выдерживали табачного дыма и сперттого воздуха. Канарейки умирают в раю! А ты хочешь, чтобы я жил здесь, да еще рассказывал тебе веселые истории? Нет, не получится, дорогой Заза!

— Что с тобой говорить, Шошиа, у тебя мозги набекрень!

— Кто же их должен выправить?

— Кто — не скажу, но тот, кто возьмется за эту операцию, должен иметь очень чистые руки. Знаешь ведь, мозги — вещь нежная...

— Да не такой уж я безнадежный больной, Заза! Вот если случится чудо и меня простят...

— Простят?

— Ну, не простят, конечно, но... Если дадут мне мало...

— Сколько, например, Шошиа?

— Скажем, пятнадцать... Нет, пятнадцать — это много!.. Десять, девять, семь... Пять! — Шошиа взглянул на меня глазами побитой собаки. Я отвел взгляд.

— Ладно, дали тебе пять лет... Что ты сделаешь?

— Как только вернусь, повидаю детей!

— Потом?

— Потом... Прогоню жену!

— Потом?

— Потом приду к Сиран и скажу: «Сиран, дорогая моя, пойдём ко мне...» — Шошиа, точно поющая канарейка, закрыл глаза... Я громко рассмеялся.

— Ты чего?! — вздрогнул Шошиа.

— Знаешь, Шошиа, ты со своей Сиран напоминаешь анекдот про того сумасшедшего, который бил окна...

— Какого сумасшедшего?

— О, это старый анекдот...

— Расскажи, для меня все анекдоты — новые! — попросил Шошиа.

— Ходил по Тбилиси один сумасшедший и бил в окнах стекла... Одевался он чисто, был вежлив и добр, не попрошайничал. Вот только ходил и бил стекла.

— Как это — бил стекла? А куда смотрела милиция? — удивился Шошиа.

— Дай же рассказать!

— Ну, ну!

— Милиция его ловила, отводила в дом умалишенных. Держали его там неделю, потом, видя, что он человек вполне нормальный, брали с него расписку и освобождали...

— Дальше?

— Дальше повторялось все сначала. Каждый день он разбивал не меньше пятнадцати стекол. Только бил с умом, — менял кварталы. В старых-то его уже знали...

— Ты смотри!

— Так он обошел весь город... Теперь считай: в году 365 дней. В день в среднем по 15 окон, это —

$$\begin{array}{r}
 365 \\
 \times 15 \\
 \hline
 1825 \\
 + 365 \\
 \hline
 5475
 \end{array}$$

пять тысяч четыреста семьдесят пять оконных стекол!

— Как же он их бил?

— Стрелял из рогатки!

— Ва-а!

— Теперь, если учесть, что вставить каждое стекло стоит три — пять рублей, в среднем — четыре рубля, то получится, что он причинял городу убыток

$$\begin{array}{r}
 5475 \\
 \times 4 \\
 \hline
 21900
 \end{array}$$

в двадцать одну тысячу девятьсот рублей новыми деньгами. Это, брат, годовой бюджет некоторых районов!.. Наконец поймали его и опять поместили в сумасшедший дом. На сей раз продержали его долго. Ждал он месяц, другой, третий, год, — видит, плохо дело, не выпускают. Пошел тогда он к врачам и спросил:

— Что вы собираетесь делать со мной дальше?

— А что ты сам собираешься делать? — спросили врачи. — Как ты себя чувствуешь?

— Я всегда чувствовал себя хорошо, а теперь — просто отлично! — обрадовал он врачей.

— Вот и прекрасно! Сходим-ка к главному врачу!

— Здравствуйте! — поздоровался главврач.

— Здравствуйте! — ответил сумасшедший.

— Как вы себя чувствуете, дорогой? — участливо поинтересовался главврач.

— Благодарю вас, хорошо. А вы как себя чувствуете? — вежливо спросил главврача сумасшедший.

— Спасибо... Как вы поступите, если мы вас сейчас отпустим домой? — спросил главврач.

— Так же, как и вы! — ответил сумасшедший.

— То есть? — заинтересовался главврач.

— Пойду домой! — объяснил сумасшедший.

— Слышите? — обернулся главврач к врачам.

— А дальше?

— Поступлю на работу, подыщу себе место этак рублей на четыреста-пятьсот в месяц, — больше мне не нужно, человек я одинокий, — и заживу спокойно.

— Да кто же тебе, дураку, даст такое место! — удивился главврач.

— Почему же, уважаемый? — обиделся сумасшедший. — Чем я хуже других дураков?

— Да нет, ничуть не хуже! — поправился главврач.

— Потом я женюсь! — продолжал сумасшедший.

— Молодец! — одобрил главврач. — Дальше?

— Справлю свадьбу.

— Потом?

— Потом... — Сумасшедший смутился. — Потом, когда разойдутся гости, отведу жену в спальню, погашу свет...

— Понятно, понятно! — прервал его главврач.

— Что вам понятно, уважаемый? — спросил удивленно сумасшедший.

— Достаточно... Дальше уже неинтересно! — улыбнулся главврач.

— Что вы, уважаемый! Интересное только начинается!

— Нет, нет! Не нужно! — всполошился главврач, беспокойно поглядывая на врачей-женщин. Но остановить сумасшедшего было уже нельзя.

— Когда разойдутся гости, — продолжал он, — отведу жену в спальню, погашу свет, уложу ее в постель...

— Потом, потом?! — подскочил Шошиа.

— Сниму с нее платье, сорочку, трусы, вытяну из них резинку, сделаю себе рогатку и пойду бить стекла!

— Тьфу! Мерзавец! Дурак! Испортил все дело! — Шошиа был вне себя от досады.

— Ничего, Шошиа, он получил свое, — отправили обратно в палату! — успокоил я Шошиа.

— Потом?

— Потом, спустя год, выяснилось, что наш сумасшедший был в сговоре со стекольщиком. Вот и все!..

— А при чем тут я? — спросил Шошиа.

— При том, что каждый раз, о чем бы ты ни говорил, в конце концов ты сворачиваешь на то, как прогонишь жену и женишься на Сиран! — объяснил я.

— Все равно прогоню! — вздохнул Шошиа...

ВИДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сон заключенного должен походить на рай. И пусть в этом раю поют канарейки... Сон заключенного должен походить на мечту — пеструю и красивую, как радуга, — не так ли, Шошиа?

Во сне ему должна сниться возлюбленная — краса несказанная, прильнувшая к его груди, — не так ли, Шошиа?

Во сне он должен быть вольным, как орел, и гордо парить над миром, широко расправив крылья, — не так ли, Шошиа?

Ложем ему должны служить цветы, подушкой — луна, а покрывалом — звездное небо, — не так ли, Шошиа?

Он должен увидеть во сне такое, чтобы ему не захотелось просыпаться, — не так ли, Шошиа?

Во сне человек должен стать солнцем, чтоб, пlying по небу, согревать землю и людей, — не так ли, Шошиа? И это солнце должно полыхать, как факел! Не так ли, Шошиа?

Но если и во сне я сижу в тюрьме, слышу твое хныканье, и во сне меня кусают клопы, и во сне я вижу через отверстие в двери настороженный глаз надзирателя, ем тюремную пищу и жду, когда возвестит о моей судьбе зажатый в руке следователя колокольчик, — то что же это за сон? Ведь такой сон ничем не отличается от яви. Не так ли, Шошиа?

Вот и сейчас во сне я вижу тебя. Ты сидишь на своей галерке, смотришь в окошко, поешь свои песни и мечтаешь превратиться в скворца и улететь. А как же я? Неужели ты оставишь меня одного? Не улетай, Шошиа!

Шошиа отрицательно покачал головой:

— Не могу больше, Заза! Душа истомилась! Иссякли мои силы!

— Не губи меня, Шошиа! Не покидай меня!

— Я должен улететь, Заза!

— Не улетай, Шошиа!

— Не могу больше! Завтра начинается суд... Я не вынесу этой муки!

— Как же ты улетишь, ведь ты не птица?

— Улечу! Захочу — и превращусь в птицу!

— Дуралей ты, Шошиа!

— Захочу — и превращусь в птицу! Хочешь, я и тебя превращу в птицу?

— Зачем мне быть птицей, я ведь человек!

— Ну, так гляди!

Шошиа спустился с окна, стал спиной к стене, развел руки в стороны и сделался похож на распятого на кресте Христа. Долго он стоял так, а потом стал постепенно уменьшаться.

— Что ты делаешь, Шошиа? — воскликнул я в ужасе.

Он лишь хитро улыбался в ответ, становясь между тем все меньше и меньше.

— Шошиа, не надо, Шошиа!

Я с плачем и криком бросился к двери и заколотил в нее кулаками. Напрасно! Кругом стояла такая могильная тишина, словно и эта тюрьма, и этот город, и весь мир затонули в воде. А Шошиа все уменьшается. Вот он уже стал не больше моего кулака.

— Шошиа!

И вдруг Шошиа превратился в скворца. Скворец легко перепорхнул с нар на нижний оконный откос и оттуда взглянул на меня, по-птичьему склонив голову набок.

— Что ты наделал, Шошиа!

Скворец свободно пролез сквозь оконную решетку и теперь уже снаружи глядел на меня, словно приглашая последовать за собой.

— Не улетай, Шошиа!

Скворец раскрыл крылья, сорвался с окна и... полетел. Он описал круг над тюремным двором, над адми-

нистративным корпусом, пронесся мимо часового на вышке и взял направление к Арсенальной горе.

— Шошиа-а-а!..

Скворец быстро удалялся. Вот он уже стал похож на маленькую черную точку и исчез, растаял в синеве неба где-то над Кукийским кладбищем...

— Гоголадзе, с вещами! — крикнул надзиратель.

Шошиа чуть было не хватил удар. «С вещами?» Это... Что же это такое?! Каждому известно: на суд заключенных ведут безо всяких вещей! Кроме того, каждого заключенного заранее извещают о дне предстоящего суда... А тут... Без предупреждения, ясно и коротко: «С вещами!»...

Шошиа не шелохнулся, не откликнулся, словно приказ надзирателя касался не его, а кого-то другого, сидящего в другой камере другой тюрьмы.

— Гоголадзе, ты что, оглох? С вещами приказано! — повторил надзиратель и, чуть прикрыв дверь, отошел.

— Что... Что он сказал? — спросил заикаясь Шошиа.

— Зовут тебя! С вещами! — улыбнулся я.

— С вещами? Что за чудо?! — спросил он.

— Чудо! — подтвердил я.

— Кто сказал, что чудес не бывает?

— Я этого не говорил!

— Не ты, так кто-то сказал. Есть чудеса на свете!
— У Шошиа задрожали губы.

— Есть, Шошиа!

— Есть на небе бог! — прошептал Шошиа, опускаясь на колени.

— Есть, Шошиа!

— Боже великий! — сказал Шошиа и умолк. Я не

знаю, пропал ли у него голос, или он произносил благодарность богу молча, про себя... Он долго молчал, потом быстро встал и торопливо заговорил:

— Говори, где ты живешь? Впрочем, я знаю — Анагская, сорок два! К кому я там попаду? Да, знаю, к твоей матери! Что ей сказать? Ну да, конечно, скажу, что ты чувствуешь себя отлично и чтоб она ждала тебя!

— Чтобы что, Шошиа?

— Чтобы ждала тебя!

— Сумасшедший ты, Шошиа!

— Ничего не сумасшедший! А как ее звать? Ах, да, знаю, Анико, тетя Анико, уважаемая Анико!.. Что еще надо сделать? Кого повидать? Хочешь, пойду к матери убитого, скажу, что не ты его убил?

— Нет, не ходи, Шошиа!

— Обязательно пойду!

— Гоголадзе, скоро ты там?

— Ну, до свидания, Заза, дорогой мой! — Шошиа порывисто обнял меня, прижал к груди и сломя голову выскочил за дверь, оставив меня наедине с моим горем, надеждой и сомнениями. Улетел скворец. Улетел Шошиа...

...Теперь я забираюсь на галерку Шошиа, у окошка, и часами, не сводя глаз, гляжу на открытый им кусочек моего города...

...Вот крохотная пивная будка, и в ней огромный, толстый продавец. Он похож на вставленный в рамку чей-то недорисованный портрет. Недорисованный потому, что я вижу лишь его контуры, разобрать детали отсюда невозможно... Рядом с пивной — аптека. Бывают дни — аптека пуста, ни души, а другой раз она битком набита людьми. Вот и сейчас — хвост очереди тянется

вдоль улицы. Видно, в городе эпидемия гриппа... Чуть дальше — парикмахерская. В каждой парикмахерской есть два-три мастера «пинача»*, которых клиенты избегают. Есть они, видать, и в этой парикмахерской — вот те двое, которые день-деньской сидят на скамейке у дверей и о чем-то мирно беседуют, хотя в посетителях недостатка нет. Иногда к ним присоединяется женщина в белом халате. Это или уборщица, или такая же, как и они, «пиначка»... В шапочном ателье народу обычно мало. Потому, наверно, что люди предпочитают покупать готовые фуражки, шляпы и кепки. И вообще-то головные уборы выходят из моды, полгода люди ходят с непокрытой головой. Раньше шапка считалась у нас символом мужской чести. Может, это правильно, а может — нет. Разве мало в Тбилиси честных, порядочных людей, разгуливающих без головных уборов? Сколько угодно! Вот хотя бы этот гражданин! Что плохого в том, что он без шапки? Ничего! Вот он вошел в аптеку... Вышел... Что-то держит в руке... Лекарство? Да! Положил на ладонь таблетку и быстро отправил в рот. Что? Не лезет в горло? Да вон же пиво, чудак! В двух шагах! Вот так! Подошел к будке, рукой показывает продавцу... Начал пить... Тянет пиво медленно, с наслаждением... Так. Выпил. Заплатил. Задумался. Что же он будет делать дальше?.. Так. Подошел к парикмахерской, заглянул в дверь, потом повернулся, подозвал одного из «пиначей» и вместе с ним вошел в парикмахерскую... Спустя десять минут он вышел, отряхнулся, провел ладонью по лицу... Он сейчас,

* П и н а ч — человек, никудышный в своем деле, портач (городской жаргон).

конечно, пахнет пудрой и дешевым одеколоном... Так... Как же он теперь поступит? Что сделает? А что, собственно, ему делать? Принял лекарство... Выпил пиво... Побрился... Самое время идти домой. Почему же он не уходит? А вот почему — он вошел в шапочную мастерскую! Правильно! Молодец, человек! Купи шапку! Ведь недаром раньше шапка считалась символом мужской чести... В ателье он задержался долго, слишком долго, — я даже подумал, что он, должно быть, там работает. Но нет, он все же вышел из мастерской. Но что это? Он без шапки! Вот, а что я говорил? Сейчас полгорода ходит без головных уборов! Ну и что же? Разве за одно это человека можно упрекнуть в бесчестии? Почему, на каком основании? Иди себе, друг, со спокойной душой, топай на здоровье...

...Здесь, в этой маленькой частице Тбилиси, за которой я могу наблюдать из моего окошка, все происходит точно так же, как и во всем городе, как и во всем мире... Ходят-бродят в свободное время люди, принимают лекарства, пьют себе пиво, бреются, заказывают фуражки... Чем они заняты внутри закрытых помещений, этого мне отсюда не видно. Но этого не видно и с улицы... Так что этот крохотный кусочек города воспроизводит в миниатюре жизнь всего мира... Ох, как же ты мала, наша планета!..

И вдруг во мне словно разлилось что-то теплое и горькое, обошло каждую жилку, каждую клетку моего тела и собралось в сердце глухой, ноющей болью.

С добрым утром, мой Тбилиси дорогой!
Хочешь знать — откуда плач и ропот мой?

Пел Шошиа!

Это не было ни чудом, ни видением. Пел Шошиа,
Шошиа Гоголадзе пел в корпусе осужденных...

Бьет, гудит сионский колокол святой,
Простираю к нему руки я с мольбой...
Предан был я другом верным — не судьбой!..
Бедной пташке дайте, люди, крылья!..

Пел Шошиа, и вся тюрьма затаив дыхание внимала
его печальной песне.

Кто сказал, Шошиа, что бывают на свете чудеса?
Кто сказал, Шошиа, что есть на небесах бог? Это ска-
зал ты, Шошиа?

Не бывает на свете чудес, Шошиа!
И бога нет на небесах, Шошиа!

я покинул ковчег

Утром я поранил руку о гвоздь и попросил надзи-
рателя вызвать врача. Через пятнадцать минут в камеру
вошла улыбающаяся, как ясное солнышко, Нуну.

— Здравствуй, преступник! — весело поздоровалась
она со мной.

— Здравствуй, наш целитель! — ответил я и почув-
ствовал, как что-то в груди у меня начало оттаивать.

— Что с тобой? — Нуну сняла сумку.

— Вот, руку поранил, — ответил я.

— Ты смотри! — покачала она головой, расстегивая
сумку.

Надзиратель распахнул до конца дверь и вышел в
коридор.

— Остался один?

— Один... Что это?

— Перекись водорода... Совсем один?

— Совсем.

Нуну обмыла рану перекисью, достала йод.

— И тебе не страшно одному?

— Что ты, доктор! Огромное государство со своим войском, судом, прокуратурой и милицией оберегает меня! Чего же мне бояться?!

— Да, квартира у тебя просторная! — Нуну залила рану йодом. Я чуть не взвыл от боли.

— А что, для одной души вполне приличная! Ни тебе хлопот о мебели, ни взятки управдому за прописку!

— Вода — бесплатно, свет — бесплатно, пища — бесплатно и медицинское обслуживание — бесплатно! — поддакнула Нуну.

— Вот именно! Просто жаль покидать такую квартиру!

Нуну громко рассмеялась.

— А что, доктор, почему сюда никого не ведут? Может, трудно с пополнением? Заключенных не хватает? — спросил я озабоченно.

— Ты — последний преступник на свете! — Нуну наложила на рану огромный кусок ваты.

— Нет, серьезно?

— Карантин в тюрьме. Снимут карантин — приведут к тебе сразу тридцать человек. Радуйся! — Нуну достала из сумки бинт.

— Ну, смотри, доктор, постарайся! Чтоб поскорее! — попросил я.

Нуну опять рассмеялась.

— Когда суд, Накашидзе? — спросила она и начала перевязывать мне руку.

— Не знаю. Следствие еще не закончено.

— Говорят, тебя скоро выпустят!

— Кто это говорит?

— Люди говорят.

— А откуда людям известно об этом?

— Людям известно все, Накашидзе!

— Ты рада?

— Чему?

— Моему освобождению.

— Конечно, а почему бы нет? А ты сам разве не рад?

— Я — нет!

— Почему, парень? — удивилась Нуно.

— Потому, что не смогу видеть тебя каждый день...

— А зачем тебе это нужно? — смутилась Нуно.

Она крепко завязала бинт и задала свой всегдашний вопрос:

— Болит еще что-нибудь?

— Все болит! — ответил я, не поднимая головы. Нуно достала из сумки ножницы, срезала бинт, потом взяла две таблетки и протянула их мне:

— Раз у тебя все болит, на, выпей два люминала!

— Не уходи, доктор!

— Сколько же мне тут сидеть?

— Вот если бы меня ждала такая девушка, как ты... — Я взглянул на Нуно. Она отвела глаза.

— Тебя ждет мать!

— Мать подождет...

— Что с тобой, Накашидзе?

- Влюблен я!
- Здесь, в тюрьме, все влюблены... в меня.
- Может быть. Но не все же одинаково!
- Твои ровесники — все одинаково!
- Почему так?
- Потому что я здесь одна, одна-единственная...
красавица! — усмехнулась Нуну. — Понятно теперь?
- Ничего я не понял! — ответил я, хотя и понял
все отлично.
- Выйдешь отсюда — поймешь!
- Нуну направилась было к двери, но вдруг повернула
обратно, пристально взглянула на меня, а потом,
потупив взор, спросила:
- Накашидзе, как фамилия того заключенного?
- Которого? — Неприятная догадка пронзила меня.
- Который стихи мне читал.
- Не знаю!
- Как его звать?
- Не знаю!
- Где он живет?
- Не знаю!
- Он женат?
- Не знаю, не знаю, не знаю! — крикнул я и по-
чувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Нуну по-
молчала, дала мне успокоиться, потом подошла ко
мне поближе.
- Посмотри мне в глаза, Накашидзе!
- Я поднял голову и наткнулся на два агатовых глаза,
огнем горевших на побледневшем лице Нуну.
- Говори, Накашидзе, ты все знаешь!
- Я сник, словно лопнувшая тетива.
- Заклинаю тебя матерью и твоей любовью!

— Девдариани Како, Лимон, холостой, бездетный, имеет замужнюю сестру, вдову-мать, которая живет в Тбилиси, на улице Арсена, пятнадцать...

— Спасибо, Накашидзе!

— Он вор!

— Спасибо, Накашидзе!

— Имеет возлюбленную!

— Спасибо, Накашидзе!

— Но она замужем!

— Спасибо, Накашидзе!

Нуну еще раз взглянула на меня погасшими вдруг глазами и вышла.

— погоди, доктор! — крикнул я вдогонку.

— Что тебе, Накашидзе? — вернулась Нуну.

— Ту ночь, перед судом, я и Лимон... Мы не спали... Я спросил Лимона, почему он не спит...

— А он что?

— Сказал, что любит тебя. Так он сказал...

— Спасибо, Накашидзе, ты хороший парень!..

В полдень в мою камеру ввели нового заключенного. Худой, сутуловатый, коротко остриженный, с зеленым туристским рюкзаком в руке, он стал посредине камеры и уставился на меня темными испуганными глазами, как бы ожидая указаний, что ему делать дальше. Я улыбнулся. Он ответил недоверчивой улыбкой. Я продолжал ждать на своей галерке. Он по-прежнему стоял и молчал. Я вспомнил свой первый день в тюрьме. Тогда и я, наверно, выглядел таким же растерянным.

— Ну, что, остался там кто-нибудь? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Остался там кто-нибудь, спрашиваю! — повторил я.

— Где там? — не понял он.

— В Тбилиси!

— Кто?

— Люди!

— Конечно!

— Много?

— Очень!

— И долго еще они будут, ты не в курсе?

— Как это — долго? А что же с ними станется! — вконец растерялся он.

— Ладно... Карантин лопнул? — спросил я тоном старожила.

— Лопнул!

— А что нового на воле?

— Что именно вас интересует?

— Почему на базаре мясо?

— Дорого!

— А соленые помидоры?

Новичок понял, что я издеваюсь над ним.

— Не знаю! — ответил он обиженно.

— Что слышно про амнистию?

— В карантине говорили — будет амнистия!

— Когда?

— К пятидесятилетию образования СССР.

— В политике разбираешься?

— А что вас интересует?

— Все!

— Знаете, я газеты редко читаю...

— Как дела во Вьетнаме?

— Там война!

— Не может быть! Когда она началась?!

Парень смутился.

— Я больше «Соплис цховреба»* читаю... — проговорил он, словно провалившийся на экзамене студент.

Мне стало жаль его.

— Много вас было в карантине?

— Много.

— Куда девались остальные?

— Воров спустили в «спец».

Гм, видно, он прослышал, что особо опасных воров помещают в специальные подвалы, и теперь хочет щегольнуть своими «познаниями».

Парень продолжал:

— Сегодня утром у нас прошлись «шмоном». У меня в хлебе были лезвия. Забрали...

«Шмон» — значит обыск. Эге, да он всерьез собирается «купить» меня.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Сандро.

— Фамилия?

— Замбахидзе**.

— Хорошая фамилия.

— Ничего, — согласился он с улыбкой.

— Ляжешь вон там, внизу! — показал я рукой.

— Почему так близко от параши?

— От страха будешь часто мочиться. Тебе же удобнее!

— Столько свободных нар... — сказал он несмело.

— У этих нар свои хозяева...

* «Соплис цховреба» — газета «Сельская жизнь».

** Замбахи — по-грузински цветок ириса.

— Где же они? — удивился он.

— Кто расстрелян, кто сослан, кто умер своей смертью, кто на суде, кто на допросе. Скоро вернутся!

Замбахидзе недоверчиво взглянул на меня, однако послушаться не посмел и покорно лег на указанное мною место.

— Устал? — спросил я.

— С чего же мне уставать?!

— В таком случае вставай! За лежание в дневное время — карцер!

— А в карантине разрешали...

— Карантин — одно, камера — другое. Слушайся, когда говорят, иначе пожалеешь! — предупредил я. Замбахидзе сел.

— Это что же, весь день так сидеть? — спросил он огорченно.

— До суда. Получишь срок — потом хоть вверх ногами ходи, воля твоя!

— Какой срок? Что за срок? Вы что думаете, на земле правды нет, что ли! — взорвался вдруг Замбахидзе.

— Ты где работал? — спросил я, когда он немного остыл.

— На кожзаводе! Работал и буду работать! — ответил он запальчиво, словно в его аресте был повинен я.

— В чем же тебя обвиняют?

— У, сволочи, аферисты! — Замбахидзе стукнул себя в грудь кулаком.

— Ты это про кого?

— Про директора и начальника АХО, чтоб им провалиться! У них, знаешь ведь, как делается! Каждый

завцехом ворует кожу, продает и делится с директором и начальником АХО...

— А ты?

— Что — я? Черта с два бы я им дал! Я же не вор!

— Что же у тебя произошло?

— А то, что продали меня с моим местом!

— За сколько?

— Я почему знаю? Вызвал как-то меня директор, предложил уйти с работы по собственному желанию, написать заявление. Что я, дурак? Не стал я писать заявления!

— Молодец!

— Какого черта — молодец! Знаешь, что потом они со мной сделали?

— Знаю.

— Что?

— А вот что: в один прекрасный день тебя задержали в проходной, отвели в кабинет начальника АХО, обыскали в присутствии двух рабочих и нашли у тебя кожу.

— Не нашли, а подбросили!

— Это не имеет значения. Были свидетели.

— Лжесвидетели!

— Неважно. Были свидетели. Потом тебя сфотографировали вместе с украденной кожей и повели к директору. Так ведь?

— Так!

— Директор сидел, уткнувшись в газету. Увидев тебя, он встал и удивленно спросил: «В чем дело?» Спросил?

— Спросил, собака!

— Ну вот. Потом начальник АХО ему доложил — так, мол, и так. «Не поверю!» — воскликнул директор.

Тогда начальник АХО молча выложил перед ним украденную тобой кожу. Так?

— Так!

— Директор схватился за голову, опустил в свое кресло и долго сокрушенно молчал. Потом он встал и сказал тебе: «Товарищ Замбахидзе, что же это такое? Так-то ты оправдываешь доверие коллектива, доверие партии и правительства? Мы приняли тебя как родного сына, вырастили, вывели на широкую дорогу, дали тебе цех! А ты? Вместо того, чтобы честно служить родине, самоотверженно бороться за выполнение заданий пятилетки, экономить каждую копейку и тем самым способствовать развитию этой отрасли легкой промышленности, — что ты делаешь? Воруешь? И у кого? У государства? Нет, Замбахидзе, этого мы тебе не позволим!» Ты хотел что-то возразить, но взволнованный директор не стал слушать и рукой приказал начальнику АХО увести тебя. Так было?

— Точно!

— Что же оставалось делать следствию? Украденный товар — налицо, показания свидетелей — налицо. Будь ты на месте следователя, и ты поступил бы точно так же. Вот и посадили тебя. Продержали в карантине, а теперь ты здесь, в камере, рядом со мной!

— Но откуда все это известно тебе? — спросил изумленный Замбахидзе.

— Э, брат, это очень просто: видно по тебе, что посажен ты без вины.

— А ты?

— И я, конечно!

— Почему же тебя не освобождают?

— Кто тебе сказал, что не освобождают?! Вот уви-

дишь, не пройдет и часа, как меня выпустят отсюда!

...И свершилось чудо!

Открылась дверь камеры, и мой старый знакомый надзиратель, улыбаясь, гаркнул во все горло:

— Накашидзе, с вещами!!!

...Накашидзе, с вещами!.. Накашидзе, с вещами!..— отозвалось эхо... С минуту я еще видел Замбахидзе, потом он исчез, исчезла и камера... Все вокруг наполнилось розовым туманом, и я услышал низкий, ласковый, грудной голос знакомого старца:

— Ушли воды великие с земли нашей... Выйдите из ковчега и воздайте хвалу господу своему... Плодитесь, размножайтесь и владейте сим миром!..

...— Кто сказал, Шошиа, что не бывает на свете чудес?

— Кто сказал, Шошиа, что нет на небесах бога?

— Бывают на свете чудеса, Шошиа!

— Есть бог на небесах, Шошиа!..

Часовой открыл передо мной ворота и сильно хлопнул меня по плечу.

— Жена есть? — спросил он.

— Нет! — ответил я.

— Жаль! — покачал он головой.

— До свидания! — сказал я.

— Прощай! — ответил он.

И за мной со скрипом закрылись огромные металлические ворота...

Она ждала меня на тротуаре напротив тюрьмы. В том же выцветшем коверкотовом плаще, с той же синей в белую крапинку косынкой на шее, с тем же термосом в руках.

Она стояла и ждала.

Чтоб не разрыдаться, я закусил нижнюю губу.

Она стояла и ждала.

И я пошел к ней. Я пересек улицу и остановился перед ней.

Она взяла из моих рук котомку, положила ее на тротуар и присела рядом. Присел и я. Она открыла термос и налила в крышку горячего кофе, точно так, как тогда, во время свидания. Не спеша, спокойно я отпил глоток, и приятное тепло разлилось по всему моему телу... И вдруг зашумела улица, задвигались автомобили, кто-то засмеялся, кто-то крикнул. И я услышал срывающийся голос матери:

— Как ты себя чувствуешь, сынок?

— Хорошо, мама!

Она прижала мою голову к своей груди и долго, долго гладила меня по волосам и по лицу. Потом я почувствовал у себя на голове ее горячую слезу, вторую, третью... Мы плакали, сидя в обнимку на тротуаре. Люди останавливались, удивленно глядели на нас, и никто не спросил нас — почему мы плачем в этот полный шума, тепла, солнца и радости день?

Мы сидели, обнявшись, на тротуаре, и плакали, не стесняясь никого.

И вновь ночью ко мне явилось Солнце. Оно опоясало меня своим золотым лучом и притянуло к себе.

И чем больше я приближался к светилу, тем прохладнее оно становилось. Подойдя вплотную, я коснулся Солнца рукой, и Солнце не обожгло меня. Мы стали вместе взбираться по длинному крутому подъему — впереди Солнце, за ним я. Мы поднялись высоко-высоко, на снежную вершину, в царство вечных, никогда не тающих снегов.

— Это — Джомолунгма! — сказала Солнце и протянуло мне белый флаг.

Я раскрыл флаг и высоко поднял его.

И над миром зареяло белоснежное полотнище — символ добра, милосердия и любви.

Огромный, белый, незапятнанный флаг развевался над миром!

Рассказы

ՀԱՅԿԵՆԻ
ՆՈՒՆՈՒՄՆԵՐ



ДИДРО

Не в пример соседям, возвратившимся с русско-японской войны с чинами и медалями, Эдемика Вешапидзе умудрился привезти из Порт-Артура дурную болезнь... Потом нарек своего безмозглого отпрыска звучным именем — Дидро и со спокойной созестью отправился на тот свет, заставив четырех дюжих мужиков тащить себя на кладбище Концхоула...

Осиротевший Дидро, со своей стороны, с завидным усердием и убедительностью опроверг учение своего великого тезки, французского просветителя Дени Дидро, о врожденном таланте человека, навсегда застряв на рубеже между дважды два и трижды три.

— Э-эй! Дидройя — портартурский шпион!

— Ау! Дидройя — ойямовский выкормыш! — надрываются, задыхаясь от смеха, гутурские ребяташки на берегу Супсы.

— Вот я вас, мерзавцы! Стойте-ка там, сукины дети, погляжу, какие вы молодцы! — кричит Дидро, гоняясь с камнем в руке за рассыпавшимися в прибрежной рощице озорниками.

Не поймав никого, он с бранью и ворчанием убегает восвояси.

— Дидройя-ежик!

— Дидройя-ломовой!

— Дидройя-мылоед! — несется вслед за убегающим трусцою Дидро. Потом уставшие от преследования мальчишки с разбегу бултыхаются в прохладную воду водоворота Самгелиа.

Не было случая, чтобы Дидро бросил в детей камень. Замахнувшись на своих мучителей, он тут же опускает руку, внимательно разглядывает зажатый в кулаке камень, потом осторожно, словно жемчужину, прячет его в карман изодранных брюк.

Диковинными именами вроде Дидро в Гурии никого не удивить. Только в одном Гутури до войны жили четыре Отелло, восемь Гамлетов, семь Шекспиров, пять Дездемон и три Офелии. И никто никогда не гонялся за ними с криками и улюлюканьем.

Дидро был исключением. Дидро, кроме собственно имени, имел еще три прозвища: Ежик, Ломовой, Мылоед.

Ежиком прозвали его благодаря топорщившимся, словно колючки ежа, волосам, и еще потому, что, заключив пари, он ухитрялся голой ногой сдирать с каштанов колючую кожуру.

Ломовым Дидро прозвали потому, что не было на селе человека сильнее его. Не раз видел я, как он с перекинутыми через оба плеча тяжеленными хурджинами и огромными, полными до краев корзинами в обеих руках шагал из села в районный центр. Лишь неопытный новичок или человек без сердца и совести позволил бы себе в такой момент поздороваться с Дидро! Не снимая поклажи, он останавливался и, словно навьюченный верблюд с вытянутой шеей, взбухшими от напряжения жилами, вступал в беседу:

— Что-то не признал я тебя... Ты чей?

— Это я — Нодар, внук Кишварди!

— Кишварди? Повара гутурской столовой? Ай, какими котлетами он меня кормил бесплатно... Ты откуда?

— Из города.

— Ну, как там? Все спокойно?

— Спокойно.

— И на сколько дней ты приехал?

— На неделю.

— Ау, и за неделю ты думаешь стать человеком?

Погляди на себя — кожа да кости!

— Дидройя, хватит болтать, опоздаем на автобус! — торопит его путник.

— Дай поговорить с человеком! А нет — так брошу эти вонючие мешки на дорогу, и плевал я на твои три рубля, понял? — предупреждает его Дидро, а потом говорит мне:

— Познакомься. Это — сын Ладико Каландадзе!

— Знаю его, Дидро!

— Ау, как обрадуется твоя тетка!.. А ты слышал, что твоего племянника Тамаза укусила змея?

— Как же, Дидро, ведь я был здесь!

— Да? А что его призвали в армию, знаешь об этом?

— Знаю.

— Смотри ты, все он знает! Что же ты сюда ехал?! Сидел бы в своем городе! — обижается Дидро.

— Ну, коли так, вернусь обратно.

— Ни шагу отсюда! Вот донесу ему эти паршивые мешки до автобуса и мигом вернусь!

Дидро почти бегом срывается с места. Потом вдруг останавливается, оборачивается ко мне и жалобно просит:

— Не зови меня Ломовым, ладно? А я бесплатно донесу твой чемодан до села, ладно?

Улыбаясь, я киваю головой, хоть мне хочется не улыбаться, а плакать. Потом я отношу свой чемодан к краю дороги, сажусь на него и жду возвращения Дидро.

Что касается прозвища Мылоед, то им Дидро был наречен в моем присутствии года три тому назад. Я только приехал в село на каникулы. Был воскресный день. Гутурские бездельники, собравшись в парикмахерской, с наслаждением внимали словопрению Дидро и парикмахера Эквтиме-брюхана. Когда я вошел в парикмахерскую, спор был в самом разгаре. На меня никто не обратил внимания.

— Хорошо, уважаемый Дидро, задай мне еще одну загадку. Не сумею отгадать — целый месяц буду брить тебя бесплатно! — упрашивал парикмахер напыжившегося Дидро. (Во всем селе Эквтиме-брюхан был единственным человеком, обращавшимся к Дидро с почтительным «уважаемый». Дидро, разумеется, не понимал издевательства.)

— Так и быть, уважаемый Эквтиме! Вот тебе моя задача: на границе Японии и Америки сидит на заборе петух — головой к Японии, хвостом — к Америке. И вдруг снес петух яйцо на самой на линии границы. Кому принадлежит яйцо — Японии или Америке?!

В ожидании ответа Дидро сощурил глаза.

— Америке! — воскликнул Эквтиме.

— Почему? — спросил Дидро с иронией.

— Потому что хвост петуха обращен к Америке!

— Это ничего не значит! — окатил парикмахера холодной водой Дидро.

— Япони! — поспешил поправиться Эквтиме.

(Развязка этой опостылевшей загадки Дидро не нравится: петух не несется — это известно каждому. У Дидро подготовлен свой собственный новый, интересный финал.)

— Эй, ты, чудак! — обратился он к парикмахеру. — Да разве Америка и Япония граничат друг с другом?!

Парикмахерскую потряс дружный хохот.

— Твоя взяла, уважаемый Дидро, ничего не поде лаешь! — развел руками Эквтиме. — Но где ты выучил эту загадку?

— Где? В Порт-Артуре! — ответил Дидро так, словно вчера вернулся оттуда.

— Но когда же ты успел побывать в Порт-Артуре, уважаемый Дидро?

— А где, по-твоему, были я и мой отец в девятьсот четвертом?

— А мать? Где была твоя мать?

— Ну, что мне говорить с этим чудаком! — обратился Дидро к нам. — Скажите, люди, ведь мой отец женился на моей матери после возвращения из Порт-Артуа?

Все согласно закивали головой.

— Но ты-то? Где же ты сам был в то время? — не отставал парикмахер.

— Я? Я находился в своем отце!

— Вот так память! — воскликнул Эквтиме, потом встревоженно посмотрел на Дидро и сказал:

— Уважаемый Дидро, никак температура у тебя! Покажи-ка язык!

Дидро вздрогнул. Сперва он окинул нас подозритель-

ным взглядом, потом скромно высунул кончик языка и стал скошенными глазами разглядывать его.

— Ну, уважаемый Дидро, по кончику языка я ничего не узнаю! Высунь язык как следует, жалко тебе, что ли? — настаивал Эквтиме.

Дидро напрягся, выкатил глаза и почти на целую пядь выбросил свой огромный язык. И в тот же миг парикмахер мазнул его по языку мыльной щеткой.

— Эоу-у-у! — замычал Дидро, схватил грязную парикмахерскую салфетку, засунул ее в рот и выскочил в дверь.

С тех пор к прозвищам Дидро добавилось третье— Мылоед.

— Ау-у-у! Дидройя-мылоед, портартурский шпион!

— Эге-ге-ей! Дидройя-мылоед, оймаковский выкормыш!

— Дидройя-мылоед! — надрываются, задыхаясь от смеха, гутурские ребятишки на берегу Супсы...

Это произошло весной прошлого года, в мае. Я приехал в село, чтобы помочь тете в ремонте дома, — надо было менять черепичную кровлю.

Стояли горячие дни сбора чайного листа. Опасаясь за выполнение плана, районное руководство вывело на плантации всех поголовно — директоров и учителей, учеников и сторожей, парикмахеров и портных, сапожников и продавцов, доярок и птичниц... По просьбе бригадира Сергия в то утро вышел на работу и я.

Склон холма зеленел молодыми, свежими, сочными побегамы чая. И в этом зеленом море, словно цветы на ковре, пестрели желтые, белые, красные, синие коф-

ты, сорочки, блузки и майки гутурских девушек и парней.

Чай в основном, разумеется, собирали женщины и школьники. Некоторые из мужчин помогали весовщикам, другие разносили корзины с чаем, а больше толпились в тени, дымили сигаретами и самокрутками и обсуждали проблемы мировой политики.

Я вел учет собранного чая. Вдруг кто-то крикнул:

— Дидройя идет!

Дидро, с раскрытым в улыбке до ушей ртом, спускался сверху. Он щедро раздавал во все стороны приветствия и в то же время, размахивая зажатым в руке камнем, предупреждал детей:

— Смотрите, пацаны! Не смейте называть меня Мылоедом, иначе вниз головой спущу вас по склону!

— Здорово, Дидройя-ежик! — крикнул кто-то.

— Ну, что я вам сказал?! — остановился Дидро.

— Сказал — не называть Мылоедом! — ответил другой.

— Ежик, Мылоед, какая разница?! — спросил строго Дидро.

— Ну, так, здравствуй, Ломовой! — поправился третий.

— Опять! — Дидро недовольно поморщился.

— Что же им делать, уважаемый Дидро! — вступился за детей Эквтиме-брюхан. — Как же тебя называть?

— Лучше уж портартурским шпионом!.. По крайней мере, всем известно, что я не шпион!..

Дидро подошел ко мне, хлопнул по плечу и сказал:

— Запиши меня в список, внук Кишварди!

— В который, Дидро? Сборщиков, весовщиков или грузчиков?

— А что, по-твоему, лучше?

— По-моему, лучше прилечь в тени под деревом,
Дидро!

— Болван! Лежать в тени я мог и у себя дома! Запиши в грузчики!

Я записал.

— Как ты там написал? — усомнился Дидро.

— Дидро Эдемикович Вешапидзе, — прочитал я.

— Покажи.

— Пожалуйста!

Дидро долго всматривался в тетрадь, потом подозвал парикмахера и спросил:

— Правду он говорит?

— Точно, уважаемый Дидро!

— Там не написано ни Ежик, ни Ломовой, ни Мылоед?

— Ничего подобного, уважаемый Дидро!

— А-ну, подсоби-ка мне! — крикнул обрадованный Дидро и бросился к огромной корзине.

— Эта корзина слишком тяжела, лист пока влажный, уважаемый Дидро! — предупредил парикмахер.

Дидро снисходительно улыбнулся, подхватил стоявшего тут же мальчугана, поставил его на корзину и приказал:

— Ну-ка, нажми как следует!

Мальчик принялся ногами утаптывать лист. Чай в корзине опустился почти до половины.

— Теперь добавьте! — сказал Дидро.

Добавили.

— Еще!

Добавили еще. Корзина наполнилась до краев. Мальчуган продолжал трудиться добросовестно.

— Хватит тебе, сукин сын! — прикрикнул на него парикмахер. — Не видишь, сок уже капает!

Мальчика согнали.

Дидро обхватил корзину, приподнял.

— Мало! И это — плод труда всего села? Положите сверху еще мешок.

Положили мешок.

— И второй!

— Ну, теперь все! Не потянет! — заявил Эквтиме.

— Держу пари! — предложил Дидро.

— Идет! Сто раз брею тебя бесплатно! — выпалил парикмахер.

— Нет, уважаемый, ты и так задолжал мне на два года вперед! Ты, внучек Кишварди! Давай поспорим на брюки! — Дидро выразительно посмотрел на мои те-хасские джинсы.

— Зачем спорить, Дидро, я просто отдам их тебе.

— Я не нищий! — обиделся Дидро.

— Ну, что ты! Разве я... Вот пойду домой, сменю брюки и сам тебе их принесу.

Дидро еще раз потряс корзину и чуть поколебался, но отступить не стал.

— Поднимите! — сказал он решительно и опустился на колени, спиной к корзине.

Кто-то принес веревку. Те два мешка привязали сверху к корзине, и четыре человека с трудом взвалили ее Дидро на спину.

— Держись, Дидройя-ломовой!

— Не подведи, Ежик!

— Давай жми, Мылоед!

Дидро выпрямился и тут же покачнулся, но быстро схватился за тунговое дерево, растопырил ноги.

— Ау, Дидройя, убери руку, иначе проиграешь пари! — крикнул кто-то.

Дидро поспешно убрал руку и еще раз пошатнулся.

— Дидро, брось, ради бога, корзину и бери хоть сейчас мои брюки! — попросил я.

Но удержать Дидро было уже невозможно.

Первый десяток метров он, словно пьяный, прошел зигзагами, вихляя из стороны в сторону. Затем постепенно выпрямил шаг и наконец пошел медленно, но твердо и уверенно.

Ремни корзины глубоко врезались в плечи Дидро, жилы на лбу и шее взбухли, глаза налились кровью.

— Останови его! — попросил я Эквтиме-брюхана.

— Скорее Супсу остановишь, чем его! — ответил он.

До приемного пункта было метров триста. Затаив дыхание люди молча взирали на еле видневшуюся под огромной ношей человеческую фигуру. Потом толпа ожила, ахнула и хлынула следом. Впереди бежали дети.

— Давай, Дидройя!

— Еще немного, и брюки Нодара — твои!

— Жми, жми, Дидройя!

— Обойди сейчас его спереди и поздоровайся с ним! Вот будет потеха! — пошутил кто-то.

Толпа взорвалась хохотом.

— Давай, Дидро, осталось десять шагов!

— Восемь! Шесть!..

— Крепись, Дидройя! Еще четыре шага...

— Молодец, Дидройя! Один шаг!

Не снимая корзины, Дидро опустился на землю. С минуту он сидел, не двигаясь, с онемевшими руками и ногами. Потом, когда с лица сошла синева и побелевшие, как мел, губы вновь обрели свой естественный

цвет, Дидро широко улыбнулся и навзничь опрокинулся на траву.

Четыре человека кое-как подняли корзину на весы. На чашку поставили гирю, другую, подвесили третью, четвертую. Язычок весов не трогался с места. Тогда принесли трехкилограммовый камень, привязали к чашке. У весовщика Бенедикта от удивления глаза полезли на лоб.

— Вы что, сукины дети, решили угробить человека? — рявкнул он.

— Сколько? — спросил кто-то.

— Сто сорок одно кило!

— Ау-у-у! — вырвалось у толпы.

Все обернулись к лежавшему в траве Дидро, но его там уже не было.

— Дидройя, где ты?

И вдруг увидели: с поникшей головой, болтающимися, словно плети, руками Дидро спускался по тропинке вниз, к берегу Супсы. И впервые за всю его жизнь вдогонку не раздалось ни Дидройя-ежик, портартурский шпион, ни — Дидройя-ломовой, ойямовский выкормыш, ни — Дидройя-мылоед!..

«141 кг», — записал я красным карандашом против фамилии Дидро Эдемиковича Вешапидзе и закрыл тетрадь.

Вечером я завернул в газету свои техасские джинсы и направился к Дидро.

Двухкомнатный, крытый дранкой домик Дидро сто-

ит у самого берега Супсы. Все свое детство я провел здесь; в этих местах, и ни разу мне не приходило в голову заглянуть в этот дом. Не знаю, было ли это проявлением естественного чувства страха или стеснения, которое люди во всем мире питают к жилищу одинокого человека...

Помню, в весеннюю пору я часто часами стоял на берегу, с трепетом ожидая, что взбушевавшаяся Супса вот-вот унесет убогое жилище Дидро. Но шли годы, а домишко стоял как ни в чем не бывало. Я как-то поделился своими опасениями с дедушкой, и тот ответил:

— Что — ты! Ты — дите! Вот я, старик, с самого моего детства во время каждого паводка прощаюсь с этим домом, а он хоть бы что! Знал Эдемика-бестия, где ставить дом! Фундамент под ним — сплошная скала, да такая, что ей нипочем даже две Супсы, вместе взятые! Так-то, сынок!..

Нынешней весной Супса разбушевалась, как никогда... И теперь, вступив во двор Дидро, я сперва испытал тот знакомый с детства страх, а потом радость, оттого, что крепко и уверенно стоял домик на своем месте и единственным в этой ночи горящим окном взирал на сумасбродную Супсу.

Известно: слабоумные люди питают сильную любовь к животным, особенно — к собакам. Поэтому я ничуть не удивился, когда целая свора собак бросилась ко мне, виляя хвостами и повизгивая. Лишь одна из них угрожающе ощерилась и залаяла, и я сразу понял, что это — собака Дидро, потому что в чужом дворе собака никогда не лает на посторонних. Я остановился и, не зная клички собаки, на всякий случай позвал ее:

— Дидро, Дидро!

Собака тотчас же успокоилась, подбежала ко мне и стала ласково тереться о мои ноги, словно приглашая в дом, потом побежала вперед, оглянулась на меня и поднялась на балкон. Я последовал за собакой.

Дверь в комнату была отворена. На старинном круглом столе посреди комнаты чадила коптилка. В углу комнаты на низеньком столике виднелась икона богородицы, а перед ней — высохшая ветка вербы. На левой стене висели два выцветших портрета — молодой женщины и усатого мужчины в черной choxe. («Родители», — мелькнуло у меня в голове.) Под портретами стояла тахта, а на тахте лежал Дидро. На маленьком треножном стулике у изголовья стоял влажный кувшин, и еще один плетеный стул с круглой спинкой стоял рядом. Вот и все, что я увидел в комнате. Впрочем, нет, под потолком висела электрическая лампочка, но она не горела.

— Можно к тебе, Дидро? — спросил я тихо.

Дидро улыбнулся и, приглашая сесть, глазами показал на плетеный стул.

— Отдыхаешь, Дидро? — спросил я.

Он отрицательно покачал головой.

— Нездоровится?

Дидро кивнул.

Мне стало не по себе. Подойдя к тахте, я взял кувшин, приподнял голову Дидро и дал ему напиться.

— Что у тебя болит, Дидро?

— Оборвалось, — прошептал он и облизнул губы.

— Что оборвалось, Дидро? — спросил я тоже шепотом.

— Не знаю... Вот здесь... И здесь... — Дидро приложил руку к сердцу, потом к правому виску.

Только сейчас я заметил, что лицо у Дидро было серым, а глаза — испуганными.

— Так я сбегая за врачом!

— Нет! Не оставляй меня! — Дидро схватил мою руку и сильно сжал ее. Он не сводил с меня глаз.

— Сколько получилось? — спросил он.

— Что, Дидро? — не понял я, но потом сообразил — он спрашивал про чай. — Сто сорок один килограмм, Дидро!

— Это много?

— Очень много!

— А все же?

— Восемь пудов и тринадцать килограммов.

— А это много?

— Семнадцать батманов и пять килограммов.

— Да, немало...

— Ну, я побежал к врачу!

— Нет, нет! Не уходи! — Дидро опять схватил меня за руку.

— Да, Дидро, я ведь брюки принес, — сказал я смущенно.

— Какие брюки?

— Какие! Ведь ты выиграл пари!

— Ты что, парень, шуток не понимаешь?!

— У меня их две пары, Дидро...

Дидро посмотрел на завернутые в газету брюки, которые я положил на стол, задумался, потом повернулся ко мне и тихо сказал:

— Поклянись отцом, поклянись матерью, поклянись всеми, что не оставишь меня!

— Клянусь отцом, матерью, всеми, что не оставлю тебя! — Голос у меня задрожал.

— Подойди теперь к шкафу и выдвинь нижний ящик.

Я подошел к шкафу, нагнулся и выдвинул маленький нижний ящик. Он был полон бумажными деньгами — рублевыми и трехрублевыми.

— Есть там что-нибудь? — спросил Дидро.

— Есть. Деньги.

— Сколько?

— Много.

— А все же?

— Рублей сто — сто двадцать.

— Хватит на брюки?

— Ты с ума сошел, Дидро?

— Иди сюда, садись рядом со мной!

Я подошел. Дидро взял мою руку и заговорил:

— Эти деньги твои, Нодар! Сейчас я умру... Хорошенько меня в моих брюках — грешно... Сними их с меня и надень твои брюки... Только не сейчас. Сейчас мне станет больно... Потом, после моей смерти...

Дидро закрыл глаза и надолго умолк. Если б не его горячая рука, сжимавшая мою кисть, я принял бы его за спящего. Вдруг Дидро встрепенулся и привстал.

— Нодар, парень, рассвело! Стало светло, Нодар! Слышишь, парень, светло кругом! Все стало на свои места, все улеглось — дом, роцца, Супса, собака, корова, кувшин, икона, мать и отец мои! — Он выглянул в окно. — А вот и бог! Показался бог, Нодар! Слава тебе, господи! Как ты сумел осветить все? Покажись Нодару, великий боже! Дважды два — четыре, а трижды три — девять! — Дидро правой рукой дотронулся до своего виска. — Вот где стало светло!.. Я вижу теперь все! Я умираю внутри, во тьме, и выхожу наружу, на свет!

Все мои боли остались там, внутри! Выйди на свет, моя душа, выйди!.. А что ты делаешь, боже?! — крикнул вдруг Дидро. — Убиваешь меня, боже?! Теперь, когда стало светло, когда ты всему отвел свои места, теперь ты хочешь отнять у меня душу?!.. Стой, боже! Не делай этого, господи!.. Нодар! Не разрешай ему! Попроси его, пусть не убивает меня! Пусть он покажется, поговорит с тобой! Умереть теперь, когда я перестал быть Ежиком, Ломовым и Мылоедом?! Скажи ему, попроси его, Нодар, пусть подарит мне хоть один день жизни! Попроси!.. — Дидро постепенно понижал голос, и последние слова произнес шепотом. Он опрокинулся навзничь, и теперь лишь по движению его побледневших губ можно было догадаться, что он продолжает уговаривать меня попросить бога о продлении его жизни.

Я хотел вскочить, бежать, звать на помощь, но Дидро по-прежнему крепко держал меня за руку. И тогда я закричал:

— Помогите, люди! Дидро умирает! Эй, люди, зовите врача! Э-е-е-й! Выходите, люди, помогите Дидро!..

Ревела Супса, в припадке дикой злости угрожавшая разрушением всему вокруг. И никто не услышал моего крика. Тогда я упал на колени и обратился к иконе богоматери:

— Не убивай, боже, нашего Дидро! Разве можно убивать его теперь, когда все у него пошло на лад, когда все для него стало светло и ясно?!

Я почувствовал, как постепенно слабеет рука Дидро. Потом пальцы его разжались, и кисть руки медленно сползла к стоявшему на треножном стулике кувшину.

Дидро больше не дышал.

— Эх, боже, где твоя справедливость?

Я встал и вышел во двор. Давешние собаки исчезли. Лишь верный пес Дидро лежал у ворот, уткнувшись мордой в передние лапы, и умными глазами глядел на меня.

Серые облака покрывали небо. И сквозь них, словно скрывающийся от преследователей преступник, украдкой пробиралась луна.

С воем и ревом бросалась на берег сумасшедшая Супса. И я, как в детстве, испугался, что вот-вот она снесет домик Дидро. Ну и черт с ним!

— Боже, пусть волна разрушит и смоеет этот несчастный дом, пусть! — крикнул я. Но слишком громко шумела Супса, и всевышний не услышал моего голоса. Дом по-прежнему стоял себе, не ставя ни во что буйство бесновавшейся реки.

Я покинул двор. Собака поплелась за мной.

— Ты куда, пес?

Словно устыдившись, собака опустила голову и поджала хвост.

— Ты откуда, парень? — услышал я вдруг окрик.

Это был Теймураз Чанишвили, наш аптекарь.

— Был у Дидро...

— Ну и как он, Дидройя-ломовой?

— Умер Дидро, уважаемый Теймураз!..

— Да ты что? Не может быть! — вскрикнул Теймураз и потом добавил: — А впрочем, так оно и лучше... Ну, что за жизнь была у несчастного? Одно мученье... Слава тебе, господи!.. — Аптекарь перекрестился и быстрыми шагами направился к дому Дидро. Собака поплелась за ним.

...Я взглянул на небо. Луны уже не было. Луна успела скрыться...

СОБАКА

История эта началась в августе сорок первого и закончилась ровно два года спустя.

...Суровое дыхание войны наше село почувствовало уже через месяц. Привыкший к зажиточной жизни колхозник не смог сразу осмыслить всего ужаса происшедшего, не рассчитал своих возможностей, и случилось так, что амбары, кувшины и лари во многих домах опустели уже в августе, а в нашем доме — и того раньше...

Измученный водянкой дед Спиридон дни и ночи просиживал у камина, и все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Да что хозяйство! У меня и сейчас начинает ломить спина, как вспомню, сколько я тогда натаскал из лесу дров и хвороста: пропал бы бедный старик без тепла.

25 августа был съеден последний кусок мчади. Дед извлек из стенного шкафа закупоренную кочерыжкой десятилитровую бутылку с водкой и сказал:

— Положи в корзину, ступай в Чохатаури* и обменяй на пуд кукурузы. Того, кто предложит меньше, облей этой самой водкой, разбей бутылку и возвращайся до-

* Чохатаури — районный центр.

мой... Водка тутовая, и в ней восемьдесят градусов, надо ж понимать!.. Вот так.

Дед грустными глазами взглянул на бутылку, тяжело вздохнул и добавил:

— Ступай!

...Разбивать бутылку мне не пришлось. На базаре нашелся специалист по водочным делам, который вмиг оценил достоинства моего товара. Он без лишних слов отсыпал мне в мешок пуд отборной желтой кукурузы, всунул в карман красную тридцатку, погладил по щеке и велел явиться на следующей неделе.

Спустя минуту я стоял в столовой напротив базара.

— Котлеты есть? — спросил я буфетчика.

— А деньги у тебя есть? — в ответ спросил буфетчик.

— Есть!

— Сколько?

— Тридцать рублей!

— Покажи!

— Вот!

— Садись. Сейчас принесу.

— Три порции! — сказал я, снял со спины корзину и присел к столу.

— Ты что, парень, тронулся? — искренне удивился буфетчик.

— Нет, проголодался! — объяснил я.

— С картошкой или с макаронами?

— Две порции с макаронами и одну — с картошкой. Каждую отдельно!

— Лимонаду сколько?

— Три! — ответил я и заранее отпустил пояс.

Буфетчик подозрительно взглянул на меня, но промолчал. Поставив на стол три тарелки с котлетами и три бутылки лимонада, он ласково спросил:

— Куда ты девал ту тридцатку, а, парень?

— Вот она! — с достоинством ответил я, показывая деньги.

Буфетчик взял тридцатку, пощупал, посмотрел ее на свет, потом распахнул грязный халат, расстегнул карман еще более грязной блузы и опустил ее туда.

— Ты свободен! — сказал он с улыбкой и ушел.

В столовую забрела длинная, приземистая, тощая черная собака с ввалившимися боками. Она несколько раз прошлась по комнате, искоса поглядывая на меня, потом, осмелев, подошла ближе. Пожалев котлету, я бросил собаке макаронину. Она на лету схватила ее и проглотила. Я бросил еще. Через минуту, решив привлечь мое внимание, собака несмело тявкнула.

— Вон отсюда, паршивая! — прикрикнул на собаку буфетчик.

— Как ее звать? — спросил я.

— А черт ее знает!

— Чья она?

— А я почему знаю, пропади она вместе с хозяином! Пошла вон! — замахнулся на собаку буфетчик.

Поджав хвост, собака бросилась на улицу.

...Покончив с едой, я взял свою корзину и направился к двери.

— Сдачи не полагается? — спросил я буфетчика на всякий случай.

— Еще чего! — ухмыльнулся он.

— Совсем ничего? — не сдавался я.

— Иди, парень, иди с богом!

При выходе из столовой я увидел давешнюю собаку — опасно оглядываясь, она вновь приближалась к двери.

Не успел я сделать и десяти шагов, как услышал душераздирающий визг и вой собаки. Затем она промчалась мимо меня, бросилась в воду под мостом, тут же выскочила на берег и с жалобным тьяканьем стала кататься в песке.

Я обернулся к столовой. В дверях стоял буфетчик с котелком в руке. Из котелка поднимался пар.

— Ошпарил собаку? — спросил я.

— Нет, чуть подогрел ей лапы! — глупо улыбнулся он.

— Осел ты! И отец твой — осел! — крикнул я.

Буфетчик остолбенел. С минуту он молча глядел на меня, наливаясь злобой, потом поставил котелок на землю, засучил правый рукав и медленно направился ко мне.

— Подожди-ка меня там! — прохрипел он.

Я спокойно снял со спины корзину, нагнулся и поднял у края дороги здоровенный камень.

Буфетчик остановился словно вкопанный. Он постоял, постоял, потом покачал головой и убрался восвояси.

Собака лежала под мостом, уткнувшись ошпаренной мордой в передние лапы, и жалобно скулила. Увидев меня, она умолкла, потом негромко заворчала. Я подошел ближе, пригляделся. Правая лапа бедняги также была ошпарена.

— Ну-ка, дай поглядеть на тебя! — сказал я и присел перед ней на корточки.

«Эх, что это вы со мной сделали!» — всхлипнула она. Из левого, неповрежденного глаза собаки текли слезы. Я снял рубашку, разорвал ее пополам, смочил в воде и перевязал собаке глаз, потом лапу. Почувствовав облегчение, она благодарно взглянула на меня и опять заплакала. И тут я не выдержал, сел на песок и тоже заплакал. А собака — даром что животное: она прекрасно понимает, почему плачет человек. Искалеченный пес подполз ко мне и ласково ткнулся мордой в мои колени...

...Помню однажды — было мне тогда лет четырнадцать, — когда дочь Гервасия Джабуа — Тину выдали замуж за Арсена Сиамашвили из села Набеглави, я впервые взмолился богу: «Боже, прибавь мне шесть лет, и не видать Арсену красавицы Тины...». И теперь я опять мысленно попросил: «Боже, дай мне силы справиться с буфетчиком, а потом хоть убей меня!..» И никогда, никогда я так сильно не жаждал исполнения своей мечты, как теперь, сидя под мостом в обнимку с бездомной собакой...

— Что это такое?! — удивленно воскликнул дед, когда я извлек из корзины ошпаренного пса.

— Собака! — ответил я.

— Дрянь какая-то, а не собака! — плюнул дед.

— Ничего не дрянь! Это буфетчик ее ошпарил кипятком!

— Заслужила, значит. Ворюга!

— Голодная она! — вступился я за собаку.

— Ну-ка, сними тряпки!

Я снял повязку, и дед осмотрел собаку.

— Мда-а, не вовремя ее ошпарил душегуб! В жару раны заживают долго... Принеси-ка топленое масло, смажем ей больные места... Ну, лапу-то она сама себе вылечит, а вот с глазом...

...На другое утро в нашем дворе уже раздавался собачий лай. Несмело и негромко, но собака лаяла...

Как только мы ее ни называли — Джек, Джульбарс, Беляк, Мурка, — собака не отзывалась ни на какую кличку. Тогда мы решили звать ее просто Собака. Спустя месяц у нее зажила лапа, затянулась рана на морде. Ошпаренные места покрылись новой густой шерстью. И стала она веселой и красивой собакой, каких и вовсе не было на селе.

Особыми талантами, сказать по правде, она не отличалась, но вообще-то соображала неплохо: детей и женщин не трогала, среди всех деревенских кур хорошо отличала нашу единственную несушку и даже оказывала ей благосклонное покровительство. Что же касается мужчин — кроме меня и деда, она не признавала на селе ни одного мужчину. Я был уверен — ненависть к мужскому полу вспыхнула в Собаке в день, когда буфетчик так безжалостно ошпарил ее.

Соседи часто жаловались деду:

— Что же это получается, Спиридон! Уже и в гости к тебе нельзя зайти! И где ты его откопал, паршивого пса! Птичку к дереву не подпустит, проклятый! Прогнал бы его к чертям или хоть посадил на цепь, что ли!

Дед только улыбался. Он так подружился с Собакой, что прогнал бы из дому скорее меня, чем ее. Собака чувствовала это. Изредка, когда я шел в лес за дровами

или ночью — на мельницу, она шла за мной, все же остальное время лежала в ногах у деда и с благоговением ждала его приказов, глядя на него грустными, влюбленными глазами. Стоило упасть с дерева яблоку или груше, Собака срывалась с места и, опережая свинью, мчалась к дереву, хватала плод зубами и приносила деду. Дед ласково гладил ее по шее, потом очищал плод, съедал его, а кожурой угощал Собаку. И она ела кожуру с необыкновенным удовольствием, — а ведь под деревьями было полно тех же яблок и груш. А как Собака умела слушать! Пожалуй, она была единственным существом, способным часами внимать деду, в сотый раз рассказывавшему одну и ту же историю. И чем длиннее бывал рассказ, тем внимательнее слушала Собака, и глаза ее словно просили деда: «Ради бога, не пропусти ни одного слова!»

Однажды я стал свидетелем такого диалога.

— Эх, дружок, кабы не эта проклятая война, разве пришлось бы тебе жрать гнилые груши?! — говорил Собаке дед, печально качая головой.

— Вот именно! — согласно кивала она.

— Небось, ты и вкус мяса забыла, бедняжка? — спрашивал дед.

— Увы, забыла! — вздыхала Собака.

— Ничего, все уладится, — успокаивал ее дед, — вот появится скоро отец Гогиты — Арсен, присмотрит за нами. А? Как ты думаешь, ведь присмотрит? — Собака не знала моего отца, но все же утвердительно кивала головой. Дед продолжал: — Кончится же когда-нибудь война, будь она проклята!.. И хворь моя пройдет. А? Пройдет ведь?..

Так сидели они часто на балконе, грелись на солныш-

ке и думали: дед — об окончании войны, о возвращении сына, Собака... Собака, наверно, думала о мясе...

Ну, а во всем остальном наша Собака вела себя, как все собаки на свете. Ночью спала на дворе. Считала обязательным своим долгом лаем откликаться на крик петуха, мяуканье кошки, вой шакала. Ворчала на полную луну, колесом выкатывавшуюся из-за Медвежьей горы. Улаживала свои любовные дела. Подняв лапу, мочилась в огороде, на свежезазеленевшие грядки сельдерея. И еще: услышав, как в каком-то дворе начинала вопить и причитать несчастная женщина, получившая похоронную на мужа, сына или брата, Собака поднимала вверх морду и раздражалась жалобным воем.

Шли дни. И жили мы, как полагается жить людям и собакам во время войны...

22 августа 1943 года, ночью, село взбудоражили собачий лай, грызня и вой. Была случная пора, и поэтому особого внимания на шум никто не обратил.

Утром Аслан Тавберидзе нашел у родника растерзанного пса. Для случной поры это также не было явлением необычным. Труп зарыли.

В полдень в селе появился незнакомец, разыскивавший свою собаку. Его направили к Аслану. Пришел туда и я.

— Кириле Мамаладзе из Хеви, — представился он.

— Очень приятно. Чем могу служить? — вежливо спросил Аслан.

— Собака у меня пропала... Сказали, будто вы сегодня тут зарыли какую-то...

— Точно. Мы и зарыли — я и вот этот парень. А что, разве не следовало этого делать?

— Что вы, наоборот, спасибо вам за внимание. А место показать можете?

— Пожалуйста.

Мамаладзе отрыл труп собаки, пригляделся.

— Моя! — заявил он уверенно.

— Желаете перенести останки? — улыбнулся Аслан.

— Не до шуток мне! — отмахнулся Мамаладзе. —

Вчера она покусала моего ребенка, а потом сбежала. На пастеровской станции велели принести голову собаки, чтобы сделать анализ мозга. Если, не дай бог, окажется, что она была бешеной, придется делать ребенку сорок уколов. Представляете себе? Сорок уколов! Дитя и так еле на ногах держится!

Мамаладзе вздохнул и достал из мешка топор.

Я быстро отвернулся и пошел домой.

Выслушав мой рассказ, дед невольно поморщился.

— Нехорошее это дело! — сказал он и взглянул на беззаботно развалившуюся у его ног Собаку.

Вечером зашел к нам сосед Бадриа и попросил у деда ружье.

— Зачем тебе ружье, Бадриа? — спросил дед.

— Должен застрелить свою собаку.

— В чем она провинилась?

— А ты разве не знаешь? Вчера чья-то собака напала на наших собак. Да ты же слышал, парень, что сказал хозяин того пса! Ребенка, говорит, покусала.

— Но он не говорил, что собака бешеная! — ответил я.

— Дурак! Разве нормальная собака тронет хозяйского ребенка? — спросил Бадриа.

Я промолчал.

— Для такого дела я тебе ружье не дам! — отрубил дед.

— Чем же ее убить?

— Колом.

— Что я, зверь какой-нибудь? — обиделся Бадриа.

— Тогда, как хочешь...

Бадриа ушел.

— Ночью запри пса в сарае! — приказал дед и ласково погладил Собаку.

Первый выстрел и душераздирающий визг собаки раздался во дворе Аслана Тавберидзе.

— Какое сегодня число? — спросил меня дед.

— Двадцать третье августа.

— Наступила Варфоломеевская ночь! — проговорил дед.

За первым выстрелом последовали второй, третий, четвертый... Со всех сторон доносились звуки выстрелов, лай и вой собак, крики мужчин, вопли женщин, плач детей, мычание скота. Гроыхнуло во дворе Бадриа, затем — у Алистарха, и наконец грянуло под боком, у соседа Макариа. Визг собаки оглушил меня.

— Несчастливая собака!.. Пока Макариа перезарядит свою допотопную кремневку, измучается животное! — простонал дед и закрыл уши дрожащими руками.

Целый час продолжалось это неслыханное, безжалостное истребление собак. Целый час гудело и шумело село. И все это время наша Собака, запертая в са-

рае, со злобным лаем и рычанием бросалась на дверь, скребла ее когтями.

Постепенно все стихло. Грохнул вдали последний выстрел, и наступила мертвая тишина.

— Э-ге-ге-ге-ей! — раздался вдруг чей-то победоносный крик.

— Все. Кончилось... Боже великий, прости нам грехи наши тяжкие... — вздохнул дед...

...Наступило утро.

Пропел петух.

Замычала корова.

Заблеяла коза.

Закудахтали куры.

Из-за Концхоулы поднялось солнце.

Все было, как обычно, и все же то утро было необычным.

Селу чего-то не хватало — незаметного, обыденного, но огромного, близкого, родного чего-то. И когда на проселочной дороге между изгородями показался Аслан Тавберидзе с топором на плече и за ним вприпрыжку не бежал его вислоухий Тузик, — я понял: этой неотъемлемой частью, этой плотью от плоти и кровью от крови села была собака — обыкновенная сельская дворняжка.

Утро 24 августа 1943 года в моем селе наступило без Собаки...

...Весь день наша Собака не выходила за калитку, не ела, не лаяла. Она лежала у ног деда с закрытыми глазами и вытянутыми лапами. Если б не равномерно вздымавшийся и опускавшийся живот, Собаку можно было принять за мертвую.

— Ну, как она? — спросил я деда.

— Переживает вчерашнюю ночь, — ответил он. — Ничего, скоро все забудет, — он погладил Собаку. Она не шелохнулась.

Под вечер опять появился подвыпивший Бадриа.

— Добрый вечер, Спиридон! — поздоровался он.

— Здравствуй, Бадриа! — ответил дед, но во двор гостя не пригласил.

— Спиридон! — начал Бадриа смущенно. — Народ... того... недоволен... Во дворе Спиридона, говорят, вчера не было стрельбы...

— А что, разве кончилась война? Или вернулся мой Арсен? Или вчера была новогодняя ночь? В честь чего бы мне стрелять? — спросил дед.

— Спиридон, не обижай село ради собаки... Убей пса. У нас ведь собаки были не хуже твоей. Или ты один нашелся такой добрый?

— Нет, Бадриа, не бывать тому, чтобы у моего гроба не выла собака!

— Смотри, Спиридон! Не дай бог, но если пес взбесится и покусает моих детей, спалю твой дом и тебя заодно! — пригрозил Бадриа и ушел, пошатываясь.

Было уже темно, но я заметил, как побледнел дед.

— Бадриа! — крикнул он.

Бадриа обернулся.

— Слушай меня, сопляк! Придержи-ка язык и будь осторожен, иначе погрею я свои старые кости на пепелище твоего дома! Понял?

Не знаю, что подумал остолбеневший Бадриа, но будь на его месте я, — в ту ночь не сомкнул бы глаз: всем было известно, что слово деда никогда не расходилось с делом.

...Было около полуночи, когда в дальнем конце нашего двора раздались подряд два выстрела. За ними последовал жалобно-злой лай собаки. Вскочив с постели, я схватил ружье и помчался к месту выстрелов. Кто-то быстро продирался сквозь кусты. Потом я услышал шаги убежавшего человека.

Собака лежала у плетня и тихо скулила. Я взял ее на руки и бегом вернулся домой. Дед успел зажечь коптилку и теперь сидел на козьей шкуре у камина. Он осмотрел рану Собаки, промыл ее спиртом, посыпал табаком и крепко перевязал.

— Ничего страшного, — сказал дед, — кость не задета.

Он вопросительно взглянул на Собаку. Собака выразительно взглянула на деда.

— Кто стрелял? — спросил меня дед.

— Не знаю...

— А она знает! Знает, да не может сказать! — дед покачал головой и смахнул слезы с глаз Собаки.

Утром дед попросил вывести его на балкон. Собака, хромя, поплелась за дедом и улеглась у его ног.

Наш дом стоял на пригорке. И теперь дед осматривал село так внимательно, словно видел его впервые. Он долго молчал, потом обернулся ко мне и тихо сказал:

— Правы они, сынок... Нельзя ради собаки обижать село... Возьми ружье, прихвати Собаку и... Только выйди за село, чтобы я ничего не слышал...

— А что я должен сделать за селом? — спросил я

и почувствовал, как задрожал у меня подбородок и скривилась нижняя губа.

— То, что сделали все наши соседи, — ответил дед, не глядя на меня. — Ступай, сынок...

Я вынес из комнаты ружье, обвязал веревкой шею Собаки и потянул. Собака не сдвинулась с места.

— Идем, Собака! — Я еще раз потянул веревку.

Собака умоляюще взглянула на деда.

— Иди, иди с ним, Собака! — сказал дед и закрыл лицо руками...

Мы пересекли село, свернули с шоссе и пошли по тропинке, спускавшейся к реке по сланцевому склону горы.

Собака, прихрамывая, покорно следовала за мной, и за все время ни разу не взглянула на меня.

Мы подошли к реке. Я снял веревку с шеи Собаки и присел на большой валун. Холодный пот градом капал по моему лицу, сердце гулко стучало. Успокоившись немного, я снял с плеча ружье. Тогда Собака подняла голову и уставилась на меня добрыми печальными глазами. Не выдержав ее взгляда, я отвернулся, потом быстро вынул из ружья обе гильзы и швырнул их в реку.

Тяжелый камень свалился с моих плеч. Я встал, глубоко вздохнул и потянулся. Собака несмело подошла ко мне, лизнула руку, потом вдруг сорвалась с места, бросилась к реке и несколько минут прыгала, кувыркалась, вертелась в воде, поднимая фонтаны брызг. Выйдя на берег, она отряхнулась и, утомленная, легла на песок. Из раны на лапе у нее сочилась кровь, и глаза

были полны слез. Но я и сейчас готов поклясться чем хотите — Собака смеялась!

— А теперь ступай, Собака! Иди спокойно, мирно, не лай и не огрызайся на людей и вообще старайся избегать их. Чего доброго, примут тебя за бешеную и убьют. На селе не показывайся! Слышала, что сказал дед: нельзя ради собаки перечить народу! Нельзя! Но я все же обману деда! А ты иди и не возвращайся, ради бога, в село! Быть может, ты и вправду бешеная! Не бери греха на душу! Ну, ступай, хорошая моя!..

Не знаю, — поняла ли меня Собака, но, когда я пошел обратно, она осталась сидеть на месте...

— Ну, что? — спросил дед.

Я молча снял с плеча ружье и протянул его деду. Он открыл затвор, посмотрел на свет через каналы стволов.

— Вот что я тебе скажу, сынок: если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни...

...Спустя неделю, ночью, шакал задрал в хлеву козу Эквтимэ Сирадзе.

Еще через три дня из чьего-то курятника лиса утащила двух кур.

Потом кто-то начисто опустошил десятипудовый кеври Аслана Тавберидзе.

В один прекрасный день корова Бердзенишвили обглодала в нашем дворе четыре привитых деревца, — дед аж позеленел от обиды.

Вслед за этим из села бесследно исчезли дойная корова Нины Дзнеладзе и племенной бычок Сипито Матиташвили.

Однажды ночью из амбара Кириле Титмерия унесли восемь пудов отборной кукурузы.



Народ взвыл. Начались крики да ругань, подозрения да намеки, стали судить да рядить, дошло дело до материцыны и дрючков.

Смешалось, перепуталось все. Встревожилось село.

15 октября хлынул ливень, какого давно не помнили в наших краях. Мельниц, стоявших на Губазоули, как не бывало — унесло их взбушевавшейся рекой.

16 октября дед велел мне сходить на спасшуюся чудом мельницу в Горабережоули.

К полуночи моя кукуруза была смолота. Я взвалил на спину мешок с мукой и собрался было уходить, как вдруг дверь мельницы отворилась и на пороге появился Кириле Мамаладзе.

— Здорово, Теофан! — приветствовал он мельника. Меня Кириле не узнал.

— Как поживает ваш ребенок? — спросил я Мамаладзе.

— Какой ребенок?

— А тот, которого покусала бешеная собака.

— А-а-а, вот ты о чем! Собака-то оказалась здоровой!

— Что вы сказали?!

— Ничего особенного! Собака не была бешеной...

— Не была бешеной!.. А вы... А они... Стыд и срам вам, Кириле Мамаладзе! Стыд и срам! — выпалил я и, словно подкошенный, опустился на мешок.

— Теофан, чей этот невежа? — спросил удивленный Мамаладзе мельника.

— Чей ты, парень? — спросил мельник меня.

— Ничей! — отрубил я и, не попрощавшись, вышел из мельницы.

Весь день 17 октября я раздумывал — рассказать деду о встрече на мельнице или нет. Наконец решил, что говорить об этом деду не стоит.

18 октября дед не захотел вставать с постели.

20 октября он попросил меня остаться дома.

25 октября у деда опухли правые рука и нога.

27 октября он подозвал меня и вручил ключи от ларя.

28 октября дед усадил меня напротив себя на низеньком стульчике и сказал:

— У всего на свете есть начало и конец, сынок... Не сегодня, так завтра наступит и мой конец... Это очень страшно — идти, не зная, куда. И потому не совру — боюсь я смерти... Но ты не бойся, сынок!.. Если там, на том свете, нет ничего, то и бояться тогда нечего! А если смерть — это лишь преобразование человека, — тогда тем более нет основания для страха. Я вернусь в этот мир, вернусь в другом обличье — деревом, травой, птицей, собакой... И всегда я буду с тобой!.. Я никогда не оставлю тебя одного! Знай, сынок, что бы тебе ни доставило тепло и радость, — будь то даже простой камень, — это буду я, твой старый дед! Поэтому ты никогда не считай себя одиноким и не бойся одиночества... Об одном тебя прошу — не покидай наш дом, не дай погаснуть нашему очагу!.. Вернется твой отец — он должен найти здесь огонь, кусок мчади и стакан вина. Об остальном он позаботится сам... Вот уже неделю мне снятся покойники, а твой отец ни разу не приснился. Значит, жив он! Сохрани ему, сынок, родной дом и доброе имя!.. Будет конец и войне! Войну начинают люди,

и люди же положат ей конец. Быть того не может, чтобы война одолела человека... А теперь иди, принеси дров побольше...

В ту ночь я не спал. Дед молчал, не отрываясь, глядел на пылавший в камине огонь и чему-то улыбался.

29 октября ему стало плохо. Я приподнял его в постели и обложил подушками.

— Идет, идет она, благословенная, но очень уж медленно идет... — проговорил он.

30 октября дед снова подозвал меня.

— Приготовься, сынок... Завтра она дойдет до сердца... Ты не волнуйся... Все, что нужно, сделают соседи... Жаль только, нет у нас в доме женщины, некому оплакать меня.

1 ноября, в полночь, дед слез с постели и стал посередине комнаты.

— Гогита, я увидел его! — произнес он со страшной скорбью в голосе.

— Кого, дедушка? — спросил я, вскакивая с постели.

Дед навалился на стол, потом стал медленно сползать вниз и вдруг опрокинулся навзничь.

— Дедушка! — крикнул я. — Дедушка!

Дедушки больше не существовало.

Все произошло так, как хотелось моему доброму, мудрому деду...

Я оделся, открыл все двери и окна и вышел на балкон.

Наступало утро 2 ноября.

На холодном и блестящем, как зеркало, небе одна за другой гасли звезды.

Я спустился во двор, босиком прошелся по росистой траве. Холодная дрожь пробежала по телу... Шумели

неубранные стебли кукурузы... Проходя мимо грушевого дерева, я машинально нагнулся, подобрал и откусил грушу и только тогда почувствовал, что во рту у меня пересохло.

Спокойно, не спеша я распахнул ворота, пересек дорогу, подошел к соседскому плетню и позвал:

— Маргалита!

Никто не отозвался, было еще очень рано. Я позвал громче.

Скрипнула дверь, и на балкон вышла заспанная женщина.

— Кто там?

— Это я, Гогита!

— Случилось что, Гогита?

— Спустись во двор, дело у меня.

— Ты что, пьян, парень?

— Умер дедушка, Маргалита... И некому его оплакать... Я прошу тебя...

— Да что ты говоришь!

— Да. Умер дед. Прошу тебя, Маргалита, не откажи!..

Не сказав ни слова, Маргалита — непричесанная, босая — сбежала вниз по лестнице. Когда мы подошли к нашему дому, я пропустил ее вперед. Женщина вступила на лестницу, но вдруг остановилась и в замешательстве обернулась ко мне.

— Не бойся! — сказал я тихо и присел прямо на влажную траву.

Маргалита поднялась на балкон, повернулась лицом к деревне и распустила волосы...

Дедушку хоронили в воскресенье, 4 ноября 1943 года.

Народ стал подходить после полудня. Шли группами — по признаку родства или местожительства. Перед каждой группой следовали плакальщицы и двое детей со стружковым венком в руках.

Мои ближайшие соседки, взявшие на себя все хлопоты по устройству похорон, оплакивали скорее меня, чем деда:

— Несчастный ма-а-льчик, как же ты проживе-е-шь один-одине-е-е-шенек, сирота бе-е-едненький!..

Я стоял у дверей с черной повязкой на руке и степенно, без слез и стонов, отвечал на рукопожатия заболевших.

— Ты поплачь, поплачь, Гогита, легче станет! — шепнула мне на ухо Маргалита. Я согласно кивнул головой.

Балкон, двор и даже дорога были полны людей. Стояли, судачили, делились новостями, спорили, кое-где даже смеялись...

Вдруг в толпе что-то произошло. Сперва она зашумела, потом наступила мертвая тишина. Люди расступились, и в образовавшемся коридоре показалась лохматая, грязная, с приставшими к шерсти шариками чертополоха Собака. Не глядя на людей, не обращая ни на кого внимания, Собака проследовала через весь двор, поднялась на балкон и заглянула в дедушкину комнату. Не найдя там никого, она вошла в зал, приблизилась к гробу, встала на задние лапы, передними уперлась в тахту, вытянула шею и... замерла. Долго смотрела Собака на спокойное, доброе и красивое лицо деда, потом повернулась, подошла ко мне и молча улеглась у моих ног.

— Слава тебе, господи! — вырвалось у кого-то. И тут я не выдержал, закрыл лицо руками и громко зарыдал.

Около пяти часов дня произошло другое чудо.

В комнату вошел Бадриа. Увидев лежащую у моих ног Собаку, он вздрогнул, но быстро овладел собой и с приличествующим обстоятельством выражением лица направился ко мне. Собака вскочила, оцетинилась, оскалила зубы и сердито зарычала.

Бадриа отступил, Собака сделала шаг вперед.

— Но, но, пошла! — проговорил побледневший Бадриа. Собака глядела на него налитыми злобой глазами.

— Дай же поплакать над человеком! — попытался улыбнуться Бадриа.

Собака зарычала громче и приблизилась к нему.

— Скажи ей что-нибудь! — обернулся ко мне растерявшийся Бадриа.

«А она знает! Знает, да не может сказать!» — вспомнил я слова деда и сказал:

— Бадриа, уйди из моего дома!

«Если ты всегда будешь поступать так, трудно тебе придется в жизни», — вспомнил я слова деда и все же повторил:

— Уйди, Бадриа, из моего дома!

Бадриа ушел.

Утром меня разбудил какой-то шум. В одном белье я выскочил на балкон.

— Гогита, уйми проклятую собаку, чуть не загрызла нас! — кричали пришедшие за стульями соседи.

...Я окинул взглядом свое село.

Над домами вились легкие белые струйки дыма.

Пели петухи.

Мычали коровы.

Блеяли козы.

Кудахтали куры.

Из-за Концхоулы поднималось солнце.

Тело мое наполнилось теплом, и в ушах зазвонили
веселые колокола.

В моем дворе лаяла собака,

КОРРИДА

Дато начал свой рассказ, словно кроссворд решал:

— И вот на рассвете мы в одном из городов Испании...

— Мадрид! — крикнули одновременно я и Нана.

— Когда сбудется? — схватила Нана меня за волосы.

— Никогда! — буркнул я, высвобождая голову.

— Дебил! — сказала Нана.

— Перестаньте! Это был не Мадрид! — разнял нас Дато.

— Сарагоса! — сказала Лили.

— Нет!

— Барселона!

— Нет!

— Бильбао!

— Нет!

— Севилья!

— Нет!

— А ты уверен, что это действительно была Испания? — спросила Нана.

— Как вы подъехали к городу — по морю или по суше? — спросил я.

— По морю! — ответил Дато.

— Валенсия! — попытал я счастья,

— Точно! — Дато хлопнул меня по колену и продолжал:

— В полдень отправились в город... Иду по набережной, то и дело оглядываюсь — боюсь потерять из виду мачты нашего корабля. «О, омбре симпатико!» — слышу вдруг. Что такое? Передо мной стоит живая мадонна и удивленно смотрит на меня...

— Ври, ври! — хмыкнула Лили.

— Я не верю глазам и ушам своим... — продолжал Дато.

— Давай, давай! — поддакнула Нана.

— Мадонна спрашивает: «Эрес хеорхиано?», то есть — «Вы грузин?».

— Си, сеньора, сои хеорхиано! (То есть — «Да, я грузин!») — отвечаю я.

— Вива хеорхиано! — визжит мадонна и повисает у меня на шее.

— О, палома бланка, ес эспаньола устед? (То есть — «Вы испанка?») — спрашиваю я.

— Кларо Кеси, Кларо Кеси! — отвечает она.

— Вива Испания! — визжу я и повисаю у нее на шее. В глазах мадонны сверкают слезы... — Дато закрыл глаза.

— Болван! — сказала Лили и вышла.

Дато так и сидел с закрытыми глазами, пока не вернулась Лили с подносом в руках. Тогда он взял чашку, страстно вдохнул аромат дымящегося турецкого кофе, отпил глоток и продолжал:

— Короче говоря, я и моя мадонна очутились на корриде... Конечно, поход финансировала она, — уточнил он на всякий случай. — Мы, туристы, разумеется, были предупреждены о возможных провокационных

кознях, но... каким бы я был грузином, если б отказал моей даме... Одним словом... — Дато умолк и окинул девушек многозначительным взглядом.

— Назови свидетелей! — потребовала Нана.

— На подобные дела свидетелей не водят! — ответил Дато.

— Что же было дальше? — спросила Лили.

— Начался бой. В тот день работал Домингин — кумир испанцев... На арену ворвался бык — белый красавец с янтарными, почти прозрачными рогами... Подобного быка увидишь разве только во сне... Толпа взревела от удовольствия: — Тор... р... ро-о-о! — Таких быков-избранников, оказывается, выводят на арену лишь один раз в год, и то лишь для матадоров-избранников вроде Домингина... Бык сперва завертелся волчком, потом вдруг замер на месте, словно увидел нечто необыкновенное... Домингин стоял в центре арены и, медленно, чуть заметно размахивая мулетой, шепотом повторял: — То-о-о-ро... То-о-о-ро... То-о-о-ро... — и в ожидании быка отбивал каблуками чечетку в ритме самбы.

— Домингин — сила! — вздохнула Лили.

— Санчес Мехиа по сравнению с ним — просто сопляк! — ответил Дато, не глядя на Лили, и стал в позу, которую, очевидно, занимал тогда Домингин. — Бык вдруг сорвался с места и метеором ринулся на матадора. Грациозно изогнувшись, Домингин развернул мулету, и спустя мгновение бык с размаха ткнулся в красную ткань. Не сумев сдержаться, животное споткнулось и мордой вспахало песок арены.

— Оле-е-е! — отозвалась толпа восторженным ревом.

Бык быстро вскочил, отряхнулся и вновь бросился на матадора... И тем же ловким и красивым маневром Домингин ушел от атаки. Снова и снова бык кидался на матадора, а тот стоял невозмутимо, слегка покачиваясь, и каждый раз незаметным движением мулеты отводил от себя рога разъяренного быка.

— Оле-е-е, оле-е-е, тор-р-р-р-о-о! — неистовствовала коррида.

Бык ревел, бесновался, бросался из стороны в сторону в этом заколдованном кругу. Устав, он остановился, и тут настала очередь пикадора. Он кольнул быка копьем и быстро отскочил в сторону. Кровь хлынула из раны, и белоснежное тело быка вмиг окрасилось в красный цвет. Удивленное животное обернулось и, увидев перед собой вместо человека покрытого тюфячными латами коня, ринулось на него. Удар был сильным, конь покачнулся и, не выдержав натиска, упал вместе со всадником. Его задранные вверх ноги беспомощно барахтались в воздухе. Бык отступил, примерился, и не успел приподнявшийся было на передние ноги конь вскочить, с размаху вонзил рога в его живот... Обезумевшего, с окровавленной мордой и рогами быка окружили помощники матадора, стараясь выманить его на середину арены, а тем временем упряжка осликов, позванивая бубенчиками, волокла по песку выпотрошенного, испускавшего последнее дыхание коня... Потом быка обступили бандерильеро, и в спину и бока животного одна за другой впились разукрашенные пестрыми лентами бандерильи... Бык замычал. Истекая кровью, с затуманенными от боли и гнева глазами, он уже без цели бродил по арене и наконец, высунув в изнеможении язык, остановился. Домингин, видно, считал ниже

своего достоинства нападать на обессилевшего противника. Он ждал. Но бык словно окаменел. Тогда матадор обернулся лицом к публике и поднятыми вверх руками победителя приветствовал ее. Рев обезумевшей многотысячной толпы оглушил меня. Коррида ликовала... Но торжество ее оказалось преждевременным. Бык вдруг сорвался с места и...

— А-а-а-а! — вырвался стон у толпы.

Не знаю, то ли Домингин уловил в этом крике тревожное предупреждение, то ли сработало в нем обостренное чутье тореадора, но он успел повернуться и в последнюю секунду уйти от неминуемой гибели — рога быка промелькнули в сантиметре от его груди...

На арене вновь началась пляска смерти... Разъяренный бык в неистовстве нападал на человека, и каждый раз человек ловко отражал его атаки. Это был каскад маневров, это была демонстрация зоркости глаза, силы мускулов, смелости, красоты и пластики. Это был фейерверк подлинного искусства...

...Наконец у животного иссякли последние силы. Оно выдохлось. Бык остановился, опустил голову и, тяжело дыша, с минуту молча глядел на песок. Вдруг он вздрогнул, напрягся, и я услышал его дикий, душераздирающий вопль:

— Люди, что вы сделали со мной? Куда девалось мое здоровое, сильное, пышущее жизнью тело?!

И тогда Домингин оголил шпагу и подошел к быку. Теперь перед матадором стоял не белый, а красный бык.

Перед матадором стоял красный бык — наш кормилец, наш верный и безропотный друг, наш благословенный бык Шинда*. Исхудалый, с ввалившимися боками и облезлой шеей, он покорно стоял, равнодушно жевал сухую солому, хвостом отмахивался от назойливых мух, моргал большими, умными и печальными глазами и ждал, когда мой отец после обеда снова запряжет его в плуг и пойдет с ним прокладывать борозды в Алазанской долине.

...И вот теперь этого быка — вскормленного нами кормильца и верного друга — собирались убить, убить вероломно, не в честном, открытом бою, а исподтишка, коварным, предательским ударом... И собирался это сделать гордый сын гордой страны...

Я с трудом проглотил подступивший к горлу соленый комок и закрыл лицо руками. Не помню, как я покинул корриду, мою очаровательную спутницу... Я шел, и за мной неслись горячее, как раскаленная лава, дыхание и оглушительный рев многотысячной толпы...

Я вернулся на свой корабль и, пока он курсировал вокруг Пиренейского полуострова, ни разу не спустился на берег, ни разу не ступил на землю Испании...

В комнате наступила тишина. Опешившие девушки сидели молча, словно куклы. Рассказ Дато, начатый в шутовском тоне, обернулся неожиданной для нас концовкой.

Я сидел, закрыв глаза, и чувствовал, как тают в розовом тумане сладкие грезы моего детства, как исче-

* Ш и н д а — распространенная в Грузии кличка красных быков, буквально — «кизилового цвета».



заят в зыбком мареве моя Испания, баски, андалузские ночи, Карменситы и доны Хосе, кастаньеты, знойное солнце, республиканцы, «Бандера росса», Гарсия Лорка, отец мира нашего — Сервантес... Исчезал, улетучивался несбывшийся, красивейший мой сон. И меня взяла досада. Я разозлился сам на себя. Я вскочил и крикнул:

— Ерунда все это!.. Все, что ты тут наговорил, — ерунда!

Крикнул и тут же почувствовал, что переборщил.

— Почему? — спросил Дато спокойно, но я заметил, как он вдруг побледнел.

— Потому, что на кладбищах Испании покоятся сотни матадоров, погибших на корриде!

— Я еще не слышал, чтобы бык бросал вызов матадору, — улыбнулся Дато.

— И все равно — ерунда!

— Ну, знаешь! — вмешалась Нана.

— Замолчи, ради бога! — отмахнулся я.

— Долой гуманизм! Да здравствует каннибализм! — хлопнула в ладоши Лили.

— Дура! Кому нужен твой сопливый псевдогуманизм?

— А бык? — спросила удивленно Лили.

— Какой бык?

— Тот самый. Белый бык. Тебе не жаль его?

— А вы, уважаемая, какое бы из животных вы решили использовать для поединка с тореадором? — спросил я насмешливо.

— А никакого! — ответила Лили.

— Как же поступить бедному тореадору?

— Так, как поступаем мы, грузины!

— То есть?

— По крайней мере, так убивать быка — это варварство!

— Ах вот оно что! Варварство?! А холостить годовалого бычка, в три года впрягать его в ярмо, в течение десяти лет не давать ни дня покоя и отдыха, заставлять с утра до ночи пахать, сеять, убирать, таскать песок и камень, лупить его, драть с него семь шкур, а потом — состарившегося, обессилевшего, истощенного — зарезать, повесить за ноги, разделать на куски и загонять в тридорога, — это, по-твоему, гуманно? Это, по-твоему, красиво?! — Чтобы скрыть охватившее меня волнение, я подошел к окну. По улице, задрав огромный ковш, с грохотом тащился экскаватор. Мелкой дрожью задрожали кофейные чашки на столе. Шум экскаватора постепенно удалился, и в комнате вновь наступила тишина.

— Да-а... Чем больше мы любим животных, тем они вкуснее... — проговорила Лили и улыбнулась натянутой, кривой улыбкой.

Дато возился с трубкой. Нана сидела, уткнувшись лицом в ладони. Вдруг она тихим голосом начала:

...Радость ты делил со мною и в несчастье был подспорьем,
 Одевал меня зимою, выручал с нуждою в споре.

У меня по телу пошли мурашки.

Был ли грустный день поминок, свадьбу ль шумную справляли,
 Мы тебя же, наш кормилец, на закланье посылали.

Нана убрала с лица ладони и продолжала:

Шел на плаху ты покорно — ведь всегда ты людям верил...
 Боль мою, о друг наш верный, я стихам своим доверил...*

* Отрывки из стихотворения Ш. Нишнианидзе «Вол».

...У меня словно камень с сердца свалился... Я быстро схватил фуражку и направился к двери.

— Постой, куда ты? Не проводишь меня? — спросила, вставая, Лили.

— Сегодня тебя проводит Дато! — ответил я и вышел.

У Верийского базара, перед мясным магазином, стоял огромный, длинный, как поезд, рефрижератор. С накинутыми на головы мешками, словно куклуксклановцы в капюшонах, рабочие с гвалтом разгружали машину. Пахло кровью и мясом. Картина была не из захватывающих, но тем не менее я остановился. Стоявшие в кузове рабочие, ворча и ругаясь, подавали двум другим окоченевшие говяжьи туши, и те, тоже ворча и отругиваясь, тащили их в магазин.

— Закурить не найдется? — обратился ко мне один из рабочих, согревая дыханием озябшие руки.

Я протянул ему пачку сигарет и спросил:

— Мороженое?

— Свежие пасутся в поле! — ответил он и попросил спичек.

Шел на плаху ты покорно — ведь всегда ты людям верил,
Боль мою, о друг наш верный, я стихам своим доверил, —

вспомнил я, и вдруг почувствовал, что готов расплакаться. Я молча отвернулся и зашагал по улице. У сверкающего огнями здания филармонии я остановился и взглянул на фигуру Музы. Раскинув руки, она глядела на ме-

ня своими огромными красивыми зелеными глазами. И мне показалось, будто Муза сказала мне:

— Ничего не поделаешь, друг. Так устроена жизнь...

В ту ночь сон долго не шел ко мне. Потом тьма превратилась в розовый туман, и я почувствовал, как ко мне возвращаются сладкие грезы моего детства. В зыбком мареве стали возникать милые сердцу видения Испании, басков, андалузских ночей, Карменсит и донов Хосе, кастаньет, знойного солнца, дон-Кихота и Санчо-Пансы, республиканцев, «Бандера росса», Гарсии Лорки и отца мира нашего — Сервантеса... Я погружался в сон, окутанный розовым туманом, — в счастливейший из когда-либо виденных мною снов...

НЕБЛАГОДАРНЫЙ

Столетие Гудули Бережиани прошло как-то незаметно. И немудрено: на сельском кладбище покоилось столько его однофамильцев, достигших полуторавекового возраста, что соседи могли и не вспомнить про Гудули. Да что там соседи, — свой день рождения прозевал и сам Гудули.

...В то утро Гудули встал вместе с петухом Лонгинозом. Первая его реплика была адресована соседскому псу:

— Ну, как, сколько яиц ты собираешься утащить у меня сегодня?.. Пшел, не путайся в ногах, обжора!

Затем последовал выговор сошедшему с жерди петуху:

— Чем будить меня чуть свет, присмотрел бы лучше за своим гаремом! Наставит тебе рога петух Ардалиона Брокишвили, — будешь тогда кукарекать!..

Покончив с петухом, Гудули спустился с балкона и вошел в кухню. Стоя на коленях у очага, он разгреб засыпанные золой уголья, набросал сверху сухого хвороста и стал раздувать пламя. Потом поставил на огонь медный кувшин с водой. Подождав, пока вода согреется, налил ее в горшок для молока, засучил правый рукав и направился к хлеву. Привязанная к яслям корова

взглянула на хозяина огромными задумчивыми глазами и замычала.

— Здравствуй, здравствуй! — приветствовал Гудули корову и шлепнул ее по крупу. Корова перестала жевать жвачку, медленно поднялась и стала покорно ждать, когда Гудули приступит к дойке. Тот подтолкнул к корове трехногий стульчик, присел на него и взялся за увядшее коровье вымя. В горшок полились тоненькие струйки молока. Удой оказался небольшим.

— Совсем ты расклеилась, несчастная! — упрекнул корову Гудули.

— Что делать, бабушка, состарилась я! — попыталась она оправдаться.

Гудули распахнул ворота и пустил корову в убранный кукурузный поле.

— Иди, жри!.. Не корова ты, а коза паршивая, чтоб волки тобой подавились!.. Иди!

...Корова нехотя щипала жухлую траву...

— Здравствуй, Гудули!

Гудули сидел на лестнице оды, держал на коленях горшок с молоком, глядел на медленно всплывавший между гор золотой диск солнца и ни о чем не думал.

— Здравствуй, Гудули!

Гудули оглянулся на голос. Под грушей, скребя затылок, стоял Уча Мелимонадзе.

— Не Гудули, а дед Гудули! Сколько раз я тебе говорил, сопляк?!

— Здравствуй, дед Гудули!

— Здравствуй!

— Мама просила тебя угостить меня вареньем!

Гудули улыбнулся:

— Может, молоком?

— Нет, вареньем!

— Ну, так знай: не выпьешь молока — не есть тебе варенья!

— Покажи...

Гудули протянул горшок.

— А мама говорит: будешь пить гудулино сырое молоко — заболеешь бруцеллезом. Вот!

— Много твоя мама понимает! Ты поговорку про женский ум слышал? То-то!.. Гм, сырое молоко! Если хочешь знать, я всю жизнь только и пил, что сырое молоко! Понятно тебе?

— Ну, ладно, так и быть...

Уча вздохнул и...

Глядя, как молоко с бульканьем наполняет животик мальчика, Гудули еле сдерживал смех. Наконец Уча оторвался от горшка, фыркнул, рукавом вытер губы, вернул горшок Гудули и взмолился:

— Подсоби хоть немного...

Гудули молча взял у мальчика горшок.

— Слышь, Уча, а в школу ты сегодня не собираешься?

— А сегодня воскресенье! — блаженной улыбкой улыбнулся тот.

— Суббота сегодня! — нахмурился Гудули.

— Да нет же, воскресенье! — повторил Уча.

— Неуж... Ах ты, боже мой! Как же это я, старый дурак, сплеховал! — Гудули в сердцах стукнул себя рукой по колену.

— Да что тут такого, дед Гудули? Суббота, воскре-

сенье, — не все ли равно? В школу ты не ходишь, и на работу тоже... — успокоил старика Уча.

— Погоди! А какое сегодня число?

— Число — 28, день — воскресенье, месяц — ноябрь, год — 1970! — отрапортовал Уча.

— Ах, горе мне! — воскликнул Гудули и встал.

Не обращая внимания на оторопевшего мальчика, Гудули вошел в комнату и уставился на висевший у изголовья его кровати календарь. Долго, не сводя глаз, смотрел он на календарь, потом оторвал листок и вернулся на прежнее место.

— Что случилось, дед Гудули? — Уча сбоку подсел к Гудули, оперся рукой о его колени и снизу вверх метнул в старика удивленный взгляд. Не отвечая мальчику, Гудули извлек из кармана очки, надел их и, не пропуская ни слова, стал по слогам читать с листка календаря:

**28 ноября
Воскресенье**

Восход солнца	— 8,06
Заход солнца	— 17,32
Долгота дня	— 9,26
Новолуние	— 24 ноября
Восход луны	— 10,55
Заход луны	— 20,31

Затем так же внимательно он ознакомился с содержанием оборотной страницы:

Знаете ли Вы?..

За один день человек делает около 20 тысяч шагов, за год — около 7 миллио-

нов, а за 70 лет — около 500 миллионов шагов, что примерно составляет расстояние от Земли до Луны.

Гудули взглянул вверх и увидел солнце. Затем он посмотрел на запад и увидел ущербную луну. Солнце и луна были на небе вместе, одновременно, но Гудули в ту минуту луна почему-то показалась более далекой.

Он продолжал читать:

Расстояние от Земли до Луны — 384 тысячи километров — в 9 раз превышает длину экватора. Следовательно, за 70 лет человек мог бы 9 раз обойти по экватору Земной шар.

У Гудули закружилась голова...

— За 70 лет — 9 раз... А за сто лет? Десять, одиннадцать, двенадцать раз...

Он взглянул на свои исхудалые, костистые, дрожащие колени и вдруг почувствовал такую страшную, смертельную усталость, словно только что завершил свой двенадцатый круг по экватору.

— А, вы слышали? Если бы мы за эти сто лет шли от нашего села через Озургети* на Батуми, Москву, потом — в Германию, оттуда — в Америку, потом, с обратной стороны, на Японию, оттуда в Озургети и домой, — мы бы двенадцать раз обошли матушку-Землю... А? Понимаете?

Он ласково погладил свои колени и продолжал:

— Этого не случилось... Землю мы не обошли... Но,

* Озургети — старое название гор. Махарадзе.

видит бог, мы не знали ни минуты отдыха... — Гудули улыбнулся. — Что же это получается? Топтались на месте?.. Много же мы исходили! Ау, какую сеть сплели!.. Не жалуюсь! Я благодарю вас и за то, что вы все эти сто лет без устали носили меня по дворам, по соседям, по селу... Спасибо, большое вам спасибо! — Гудули еще раз погладил колени.

В восемь часов утра 28 ноября 1970 года Гудули Бережиани исполнилось сто лет. Вспомнил об этом старик, и сердце его судорожно затрепыхалось, словно пойманная пташка. Гудули испугался. Такое бывало с ним в дни молодости — перед соревнованием в стрельбе или во время скачек, когда он садился на коня. Бывало так и перед началом состязаний по борьбе, где неизменными его соперниками были братья-близнецы Керкадзе, а неизменным зрителем — их сестра Талико. Тогда точно так прыгало и трепетало его молодое, сильное сердце. А теперь Гудули испугался. Он схватился рукой за грудь и замер... Вся молодость пробежала перед глазами Гудули за эти несколько минут... А потом все стало на свои места. Сердце улеглось, успокоилось и продолжало свою обыкновенную, размеренную и невидимую работу. Гудули вздохнул полной грудью и почувствовал, как его легкие наполнились прохладным чистым воздухом. Он с облегчением вытер рукавом выступивший на лбу пот, еще раз вздохнул и улыбнулся.

— Благодарю тебя, большое тебе спасибо! — сказал он и ласково погладил свое сердце.

Гудули спустился во двор, по тропинке проковылял к

груше и уселся в ее тени. Уча неотступно следовал за ним.

— Разве груше не больно? — спросил Уча, вытаскивая из дерева воткнутый острием топор.

«Началось, — подумал Гудули, — теперь только успевай отвечать на его вопросы!..»

— Ну, дорогой, если уж и деревья начнут испытывать боль от топора, тогда пиши пропало: не добиться человеку искупления своих грехов!

Гудули ждал нового вопроса, но Уча молчал. Он осторожно провел пальцем по отточенному лезвию топора и проговорил про себя:

— Конечно, больно. Еще как больно!

Гудули подозвал мальчика, посадил рядом с собой, положил руку на его огненно-рыжую голову и тихо сказал:

— Уча, сегодня твоему деду Гудули исполнилось сто лет.

Уча недоверчиво взглянул на старика и рассмеялся.

— Чего ты ржешь, сопляк?

— Да разве и в прошлом, и в позапрошлом году тебе не было сто лет?

— Сукин сын! Как это в позапрошлом году могло быть мне сто лет?!

— А сколько?

— Сколько! В прошлом году было девяносто девять, в позапрошлом — девяносто восемь! А сегодня стало сто!

— Да ну! Ты всегда был таким!

— Болван! Всегда таким пусть будет твой отец!

— Мама говорит, что тебе возраст не прибавляется

и не убавляется... «Этот старый хрыч, — говорит, — остановил время».

Гудули посмотрел в улыбающиеся глаза мальчика и увидел в них свое улетевшее безвозвратно детство... Он отвел взор и глухо спросил:

— А не говорит она — смерть, мол, не берет старого черта?

— Говорит.

— Значит, я остановил время, да? Так она сказала?

— Так.

— Эх, дорогой мой, остановить время не в силах даже сто пар буйволов!

— А кто же может остановить его?

— Никто. Настанет, наверно, день, и время само остановится...

Уча лег на спину.

— Гляди, солнце и луна — вместе на небе! — воскликнул он.

— Видел, видел, сынок!

— А как же это — солнце и луна, и вдруг — вместе?

«С ума меня сведет этот бездельник!» — подумал Гудули.

— Ну, скажи, как это, а? — не отставал Уча.

— А вот так: небо — это божье око, и оно вмещает все — и день, и ночь! — объяснил Гудули.

— Как — божье око?

— О-о-о, отстань, ради бога! — рассердился Гудули.

— Скажи — как?!

Гудули прошиб горячий пот.

— Слушай: есть у тебя глаза?

— А как же!

— А ну закрой их! Быстро!.. Что ты видишь?

— Ничего. Темно!

— Открой!.. А теперь?

— Теперь светло!

— Ну, вот. Так и божье око: оно видит одновременно и ночь и день.

— Так то — бог, а то — я! — присел Уча. — Разве мы — одно и то же?

— Конечно, сынок, одно и то же! Весь этот мир принадлежит тебе! — Гудули крепко обнял и привлек к себе мальчика. Тот хотел спросить еще что-то, но Гудули, опередив Уча, закрыл ему рот рукой:

— Ни слова больше, иначе убью тебя и себя тоже!

Уча вырвался из объятий старика и, скроив жалкую рожу, попросил:

— Один, только один вопрос! Последний!

— Ну, давай!

— Утром мама сказала, что мой папа — мерзавец, сволочь, негодяй и сукин сын, и что для нас он — все равно что умер... Это правда?

У Гудули пересохло во рту.

— Правда, сынок... — проговорил он и вдруг спохватился: — Но ты не должен повторять этих слов! Как никак — он твой отец!

— А почему — правда?

— Да потому, что человек, бросивший такого сына, как ты, — он и есть сволочь!

Уча молча встал и направился к воротам.

«Не должен был я говорить этого! — пожалел Гудули. — Мальчику отец кажется ангелом... Откуда ему знать, какой он подлец!»

— Уча! — крикнул Гудули.

Уча шел, не оглядываясь.

— Уча, вернись, сынок!

Уча остановился.

— Слушай меня, мальчик! Твой отец — не сволочь, а Тариэл, Автандил и Фридон*, вместе взятые! Ты что, шуток не понимаешь?

Уча подозрительно, исподлобья взглянул на Гудули.

— Иди, иди ко мне, сыночек! — ласково помахал рукой старик.

И вдруг Гудули остолбенел... Сперва он решил, что это ему показалось... Но когда он совершенно отчетливо, с потрясающей ясностью ощутил, как между его ног растекается предательское тепло, — Гудули понял: наступило начало конца.

— Боже, не делай этого! — взмолился Гудули. Но бог был неумолим. Теплая влажность проникала все ниже и ниже...

— Уча, помоги мне! — невольно вырвался у Гудули слабый хрип. И пока мальчик бежал к нему, он опустил-ся на колени и горько зарыдал.

Прошел час. Гудули пришел в себя.

— Ты теперь ступай домой, сынок...

— Я позову маму!

— Нет, не надо, сынок... Иди домой!

— Я скажу маме!

— Да нет, не нужно!

— А почему ты плакал?

* Тариэл, Автандил, Фридон — герои поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

— Просто так, обманул тебя, хотел испытать — любишь ли ты деда Гудули...

— Ты что, весь день сегодня обманываешь меня?

— Что поделаешь, выжил из ума старый хрыч... Ступай, ступай, мой мальчик, оставь меня... Теперь я должен отдохнуть...

Уча медленно пошел. У ворот он оглянулся.

— Ступай, сынок, ступай! — Голос Гудули звучал спокойно.

Уча ушел.

Прислонившись к дереву, не двигаясь, Гудули стоял и отсутствующим взором смотрел в пространство. В голове не было мыслей, — одна лишь безграничная пустота... Вокруг царила могильная тишина. Тишина обнимала село, небо, землю... Гудули видел, как перед ним падают и лопаются перезрелые груши, и не слышал звука падения. Он видел, как по желобку бежит родниковая вода, и не слышал ее журчания. Видел, как ветерок гонит по земле сухие листья кукурузы, и не слышал их шелеста. Видел, как подошедшая к воротам корова, вытянув шею, мычит, просится во двор, как петух Лонгиноз, взобравшись на плетень, хлопает сильными крыльями и, выпучив глаза, раскрывает клюв, но не слышал ни мычания коровы, ни петушиного пения... Все вокруг молчало. Было лишь ожидание, — нескончаемое, раздирающее душу, страшное в своей неизвестности ожидание. И прислоненный к груше, окаменевший Гудули сам походил на старое, изъеденное червями дерево, которое ждет не дождется человека с топором... Горе тебе, Гудули Бережиани, горе!

...Долго стоял так опустошенный Гудули. Потом постепенно к нему стало возвращаться сознание. Луч надежды проник в его остановившееся было сердце, и сердце вновь застучало, побежала кровь по жилам. Гудули сперва услышал биение собственного сердца, потом шелест сухих кукурузных листьев, потом мычание коровы, потом журчание воды и, наконец, пение петуха Лонгиноза. Гудули ожил.

— Слава богу... — прошептал он и медленно двинулся к оде.—Так. Спокойно, Гудули! Ничего еще не случилось... Ничего страшного... Это, наверно, произошло случайно... А может, ничего и не произошло? Может, ему все показалось?

Гудули взглянул на солнце, — оно заметно переместилось к западу. Потом осторожно ступил на лестницу. Первая ступенька... Вторая... Третья... Пятая... И тут опять рухнул мир. Опять замерло все вокруг. Опять Гудули ощутил противную, страшную, теплую влажность. «Этот старый хрыч остановил время!» — промелькнуло в голове, и он, прежде, чем вспомнить, чьи это слова, словно скошенный стебель, упал на лестницу.

— Здравствуйте, уважаемый Гудули!

Гудули очнулся.

— А? В чем дело, Ксения? — спросил он, недовольно морщась. Как никогда, старику хотелось побыть одному.

— Да вот, прибежал Уча, говорит — деду Гудули плохо...

— Ничего, дорогая! Сердце маленько... того... Прошло уже...

— Может, что нужно, уважаемый Гудули? Или позвать врача?

— Нет, нет, Ксения! Не надо!

«Начнется теперь — врач, больница, лекарства... О боже!..»

— Может, выпьете валерьянки?

— Нет, нет!

«Вот он — конец... Кому нужна такая жизнь? Валерьянка!»

— Валидол?

— Не надо валидола!

— Чем же мне помочь вам, уважаемый Гудули? — забеспокоилась женщина.

— Да ничего мне не нужно, дорогая! Иди себе домой...

«Эта — первая ласточка... За ней появятся другие... Сочувствие соседей... Хлопоты... Господи!..»

— Кажется, паршивый мальчишка сболтнул что-то про смерть... Будто бы я говорила... Убью мерзавца!

— Что ты, что ты, Ксения!

«Боже мой, как много она болтает! Раньше этого не замечал за ней!..»

— И у кого только повернулся язык сказать такое? Чтоб он отсох, этот язык!

«Зачем она себя проклинаяет? Уча не станет мне лгать!»

— Перестань-ка ты, ради бога! Ступай домой!

— Оказывается, сегодня ваш день рождения, уважаемый Гудули? Дай бог вам еще сто лет здоровья и бодрости!

— Спасибо, спасибо, Ксения!

— Неужели ваши не приедут из города? Как-никак, сто лет — событие не простое...

— Приедут, обязательно приедут!

«Месяц, другой, третий... А потом всем я надсем... Кому охота возиться с больным...»

— Вот уж если кто может похвалиться детьми, так это вы, уважаемый Гудули! Один — в Батуми, другой — в Поти, третий — в Кутаиси, четвертый — в Тбилиси. И все — ученые, все красивые... Сколько у вас внуков, уважаемый Гудули?

— Всего потомства — двадцать три человека, да что толку-то? Со мной — никого...

— Не говорите, уважаемый Гудули! Счастливый вы человек!

— Да, конечно...

«Боже мой, неужели не будет конца ее болтовне?»

— Так я пойду и пришлю мальчика.

— Не беспокойся, Ксения. Вот прилягу немного, и все будет хорошо.

— Если что — не стесняйтесь, ради бога! Зовите, как собственную дочь!

— Спасибо, дорогая!

— Будьте здоровы, уважаемый Гудули!

— Будь здорова, Ксения!

Женщина ушла. Гудули проводил ее печальным взглядом. Вот идет она — молодая, ядреная... А Гудули сидит на лестнице и — боже, боже великий, за что такой позор?! — сушится под косыми лучами ноябрьского солнца...

...Как странно устроен человек!.. О своей старости и недугах он особенно сожалеет при виде молодого, здорового существа. И, наоборот, сознание того, что

кто-то другой еще более стар и немощен, чем он сам, ему доставляет успокоение, вселяет в него надежду. Сегодня, держа Уча в своих объятиях, Гудули раз сто, наверно, подумал: «Господи, подари мне его молодость и возьми взамен все, что тебе захочется!» И теперь, глядя на удалявшуюся Ксеню, он сказал про себя: «Великий боже, дай мне возраст этой женщины и возьми от меня все, что твоей душе угодно!»

И тут же почувствовал, как краска стыда залила его лицо. Гудули Бережиани стало стыдно за то, что он не оценил по достоинству дарованных богом сто лет...

До захода солнца неумолимая действительность еще трижды напомнила о себе... И тогда Гудули Бережиани, человек, проживший на земле сто лет, стал лицом к солнцу, опустил на колени, склонил голову в низком поклоне и сказал:

— Прощай, солнце, и прими от меня великую благодарность!

— За что ты благодаришь меня, человек? — удивилось светило.

— За доброту твою, солнце, за то, что все эти сто лет после каждой ночи ты дарило мне радость наступившего утра!

— На здоровье, человек! — сказала солнце и скрылось...

— Спасибо тебе, солнце!..

Гудули впустил во двор мычавшую у ворот корову. Корова по привычке зашла в хлев, приготовилась к дой-



ке. Гудули погладил корову, почесал по голове, но доить ее не стал.

— Сегодня отдохни, корова, лежи себе спокойно... И прими от меня великую благодарность!

— За что ты благодаришь меня? — удивилась корова.

— Хотя бы за то, что каждое утро ты давала мне по стакану молока.

— На здоровье! — сказала корова и легла.

— Спасибо тебе, корова!..

Гудули прошел на задний двор, взглянул на устроившихся на ночь кур и, прежде чем прикрыть дверь курятника, ласково потрепал петуха Лонгиноза по красному гребешку.

— Завтра буди меня, когда тебе заблагорассудится. А теперь прощай и прими от меня великую благодарность!

— За что ты благодаришь меня? — удивился петух.

— Хотя бы за то, что ты добросовестно каждое утро будил меня!

— На здоровье! — сказал Лонгиноз и заснул.

— Спасибо тебе, Лонгиноз!..

Коптилку он поставил рядом с квеври*, аккуратно срезал глину вокруг его головки, стал на колени и осторожно поднял крышку. Тридцатипудовый квеври вздох-

* Квеври — зарытый в землю большой кувшин для хранения вина.

нул, обдав Гудули крепким ароматом шипучего цоликаури*. Гудули глубоко втянул в себя одурманивающий запах, заглянул в черное отверстие, потом медленно, боком опустил туда черпалку из тыквы. «Буль, буль, буль», — забулькало хлынувшее в черпалку вино. Гудули чуть притронулся губами к черпалке и сказал:

— Слава тебе, святой сок винограда, слава тебе, бессмертная виноградная лоза! И прими от меня, дорогой мой квеври, великую благодарность!

— За что? — раздался, словно эхо, удивленный голос.

— За то, что все эти сто лет ты был моим верным другом в дни радости и в дни горя!

— На здоровье! — вздохнул квеври.

— Спасибо тебе!..

Гудули сидит за низеньким столом. В руке у него — полная чаша с вином. Тусклый свет подвешенной на балконной стойке коптилки мерцает, словно нимб, над головой старика. Стекающие по щекам слезы каплями срываются с подбородка, орошая лежащие на столе кукурузную лепешку и молодой сыр, — Гудули Бережани плачет...

Час тому назад Гудули обошел весь двор. Потрогал плуг — износился плуг. Взглянул на топор — истерся топор. Взял в руки серп — почти весь вышел серп. Взмахнул заступом — истлел до половины заступ. Нож, что лежит на столе перед Гудули, — и тот на ладан дышит...

* Ц о л и к а у р и — сорт вина.



Металл, металл не устоял перед неумолимым временем, — долго ли сломиться человеку?!

Вот этим благословенным вином клянется Гудули — не жаль ему жизни. Гудули знает — он не болен. Просто истлел человек, истерся — вот и все! Износился, как те же плуг, топор, серп, заступ и нож.

Со всеми успел попрощаться Гудули — с небом и землей, домом и двором, собакой и свиньей. Но больше всех простался он со своей ровесницей — грушей.

— Прощай, груша! — обнял Гудули дерево. — Самой совершенной среди нас оказалась ты! Твои корни прочно сидят в земле, плечи твои подпирают небо... Ты дарила тень и прохладу трем поколениям моего потомства, и скольким еще послужишь добрую службу, кто знает! Вот уже век плодоносят твои добрые ветви, а ты все стоишь, груша, — здоровая и сильная. Ты — отрада и украшение моего двора, обитель пернатых и певчих моего села. Прими от меня великую благодарность, дерево!

— На здоровье, человек! — просто ответило дерево: оно хорошо знало цену себе...

«Слава тебе, природа, — подумал Гудули, — слава твоей мудрости! Какое это счастье — сознавать, что после тебя останутся жить дерево, земля, небо и солнце!..»

Последнюю благодарность Гудули воздал своему сердцу, своей деснице, глазам, ушам и разуму своему.

— За что? — спросило в недоумении сердце.

— Как это — за что? — удивился Гудули. — За сто лет ты ни разу не изменило мне, все эти сто лет мне верой и правдой служили мои глаза, уши, руки и разум. Разве этого мало?!

— На здоровье, Гудули, на здоровье!.. А теперь мне пора на покой... Я очень устало, Гудули!

— Спасибо тебе, сердце!..

Что ж, теперь можно попрощаться с мальчиком и его матерью. Но вот беда, запомятовал старик — как звать-то их? Господи, дай вспомнить! Ладно, бог с ней, с матерью, мальчика-то зовут как? Боже великий, не лишай Гудули памяти, напomini ему имя мальчика!..

Но бог был неумолим. Не вспомнил Гудули имен ни матери, ни сына...

Подошел тогда Гудули к перилам балкона, распахнул рубашку на груди и крикнул:

— Э-э-е-й, соседка!

— Слушаю вас, уважаемый Гудули!

— Кто это?

— Ксения я, кто же еще! Не узнали меня?

«Ксения... Ксения... Вот как звать ее... Ксения...»

— Мальчик дома?

— Уча-то?

«Уча! Слава богу, узнал, как звать этого прохвоста...»

— Ксения, сейчас в моем доме случится... В общем, сделай так, чтобы мальчик не расстроился...

— Вы о чем, уважаемый Гудули?!

— Прошу тебя, не пускай ко мне мальчика, пока не придут соседи...

— Да что вы такое говорите, уважаемый Гудули?! Шутите, что ли?

— Прощай, Ксения! Видит бог, я любил всех вас, и благодарю вас! Спасибо!

— Гудули, уважаемый, что с вами?!



Гудули вошел в комнату и закрыл за собой дверь.

— Гудули!!..

Во дворе Бережиани грянул выстрел. Звук был сильный. В домах вокруг зазвенели оконные стекла...

Хоронить Гудули Бережиани собралась уйма народа. Было немало родных и близких, хотя никто из них особенно не убивался. Более того, старший сын — Димитрий, вместо того, чтобы побыть у гроба, стоял во дворе, под грушей, недовольный, словно Наполеон после Ватерлоо, и здесь принимал соболезнования.

Подошел к Димитрию и я:

— Искренне сочувствую в вашем глубоком горе!

— Ах, не говорите, Нодар Владимирович! — воскликнул Димитрий недовольно. — Опозорил он своих детей! Не знаю даже, как людям смотреть в глаза.

— Мда-а, все это случилось действительно так неожиданно...

— Да что там — неожиданно! Это — чудовищно! Что мне сказать друзьям, товарищам?! Как объяснить такой поступок?! Жить с нами в Тбилиси не соизволил — с могилой жены, видите ли, не мог расстаться!.. И потом — корова эта, куры там всякие... Подумаешь, тощая корова и облезлый петух!.. И дом — развалина!.. Без Уча, мол, не могу! Представляете себе? И это сказал мне родной отец!

— Кто это — Уча?

— А я знаю? Соседский сын, мальчишка какой-то! Родной отец его бросил, а тут — пожалуйста! Нашелся покровитель! Да таких мальчишек, если хотите, у нас целая дюжина!..

— Мда-а, тяжелая картина... — проговорил я и собрался уходить. Но Дмитрий продолжал:

— Хоть бы нуждался в чем!.. Летом жена моя из Парижа привезла ему теплые кальсоны!.. Да и вообще!.. А похороны? Припомнят ли в нашем селе такие похороны?! Да что говорить? Всю жизнь он был неблагодарным, и так же неблагодарно окончил ее!..

— Не знаю, как утешить вас...

— Ради бога, какое там утешение! Благодарю вас!

— Будьте здоровы!

— Куда вы?! Пройдите, пожалуйста, вот сюда, под навес, к столу! Окажите последнюю услугу! Эй, Митуша, присмотри за гостем!

Поскольку похороны были радиофицированы и звук репродуктора был несколько выше, чем это приличествовало бы реквиему Моцарта, Дмитрий был вынужден говорить еще громче.

Мне кое-как удалось улизнуть от пьяного Митуши и незаметно покинуть двор. У самых ворот я увидел сидевшего на земле мальчика лет семи. Уткнувшись огненно-рыжей головой в колени, он плакал.

— Как тебя звать, малыш? — спросил я и погладил мальчонку по голове.

— Уча Мелимонадзе, — чуть приподнял он голову и вновь продолжал плакать.

— Расти большим, малыш! — сказал я, глотая подступившие к горлу слезы, и вышел со двора.

Оглянувшись, я увидел разглагольствовавшего Дмитрия. Но поскольку похороны были радиофицированы и звук репродуктора был несколько громче того, чем это приличествовало реквиему Моцарта, я не слышал его слов...

СОЛНЦЕ

В шесть часов утра оно взошло и золотой диадемой увенчало гору Эрцаху.

— Здравствуй, Эрцаху!

— О творец! Где ты? Истомилась душа в ожидании!

— Я здесь! — сказала Солнце.

— Мороз сдавил меня своими обручами, трещит голова, дышать уже нечем! Всю ночь я не смыкала глаз! Помогите!

— Терпенье!..

Солнце поднялось выше, диск его засиял, засверкал, и вдруг с неба хлынул поток света и тепла. Ледяные обручи на челе Эрцаху закричали, потом напряглись, напряглись и... лопнули. Эрцаху вздрогнула.

— Слава тебе, Творец! — воскликнула Гора, вытирая со лба холодный пот. Светило улыбнулось. Вокруг его царственного ока легли мелкие морщинки.

— Слава тебе! — повторила Эрцаху и умолкла.

Солнце поднималось все выше. В ущельях, балках, расселинах склонов Кавкасион нарастал великий шум. Гремели, грохотали низвергавшиеся с головокругительных высей лавины. Клубы пара и снежной пыли окутали Эрцаху...

Потом туман рассеялся. Прояснилось. Гора протерла

глаза и украдкой взглянула на Солнце. Оно было уже высоко.

— Началось! — проговорила Гора.

— Что? — спросило Солнце.

— Рождение!

— Чье?

— Детей и внуков моих — Кодори, Псоу, Келасури, Гализги...*

— И все они — твои?

— Мои и моих сестер.

— Да умножится род ваш! — благословило Солнце Гору.

Эрцаху улыбнулась:

— О, нет, Творец! В нашем роду — наоборот: детей у нас — великое множество, внуков — меньше, правнуков — и того меньше, и, наконец, — один-единственный великий потомок — Море!

Море — огромное, необозримое, необъятное — мирно спало у подножия Кавкасиони.

— Море! — вспомнило Солнце.

...Мальчуган гнал со двора козу на выпас. Обернувшись, чтобы закрыть калитку, он вдруг увидел Солнце и Эрцаху.

— Мам! — крикнул мальчуган. — Взгляни на гору и солнце!

Мать у очага кипятила молоко. Она взглянула на озаренную солнцем гору, и тут же молоко убежало.

* Кодори, Псоу, Келасури, Гализга — названия рек.

— У, чтоб тебе повывлазило! — крикнула в сердцах женщина вдогонку сыну.

— Да ты что, баба, ошалела? Ребенок только проснулся, а ты уже проклинать его! — отозвался муж.

— Погляди-ка на Эрцаху! — тихо сказала женщина.

Муж мотыжил во дворе кукурузу. Сощуриив глаза, он взглянул на чудо, давно ставшее привычным.

— К погоде, — проговорил он и продолжал работу.

Море все еще сладко дремало, шурша белыми ресницами по прибрежному песку.

— Шшррр... Шшррр... Шшррр...

— Утро доброе! — приветствовало его Солнце.

— О, Светило? Доброе утро!

— Что ты делаешь?

— Три дня тому назад у меня утонул человек... Исчез... Все во мне так и кипело, бурлило от волнения! Его не было видно нигде! Но, наконец, он все же нашелся. И тогда только улеглось мое волнение...

— Кто же он?

— Не знаю.. Никто его не искал... Мои волны вынесли его на берег... Потом пришли два человека и унесли его куда-то...

— Куда?

— Не знаю... Ведь я не могу следовать, как ты, за людьми! — улыбулось Море.

— Началось! — сказала вдруг Солнце.

— Что? — спросило Море, широко раскрыв веки.

— Люди пришли!

Люди шли к морю в одиночку и группами. Раздевались. Бегали. Кувыркались. Гонялись друг за другом. Обнимались. Ели. Пили. Собирали пестрые камушки, ракушки. Жгли щепки и хворост. Или же просто стояли у берега и швыряли в море камни. Потом, когда солнце начинало припекать, люди укрывались под раскрытыми зонтами, в сооруженных наспех из простынь палатках. И тогда Солнце не видело их.

— Пока меня нет, они неделями смотрят в небо, ждут не дождутся моего появления... А стоит мне показаться, как они начинают прятаться от меня под своими зонтами, шалашами, палатками... Почему они поступают так странно? — сказала Солнце.

— А в чем ином поступают они не странно? — спросило Море.

Солнце поднялось высоко-высоко. И люди с этой высоты казались Солнцу мелкими, еле различимыми существами...

Со двора обнесенной каменной оградой дачи выбежал старик, неуклюже затрусил по дороге. Добравшись до другой дачи, он словно подкошенный опустился на лежавший у ворот валун и крикнул:

— Приди ко мне, Человек, сын мой при смерти!

Вышел со двора человек и утешил пришедшего:

— Не бойся!

— Как же мне не бояться, если он умирает?!

Тогда тот, подавший надежду человек, побежал куда-то и привел с собой много других людей. Трое из них направились к больному.

— Профессора пришли! — сказал кто-то.

— Неужели?!

Молчание и надежда воцарились в доме.

— На что жалуетесь? — спросил больного первый врач и сам же устыдился своего вопроса: больной уже был не в силах говорить...

— И давно он так? — спросил у молодой испуганной женщины второй врач, и сам же устыдился своего вопроса: больной страдал уже немало лет...

— Воздуха!.. — простонал больной.

Распахнули окно.

— Закройте заднюю дверь! На сквозняке он простудится! — сказал третий врач. Сказал, опасаясь, как бы потом люди не упрекнули его в молчании. И, поняв это, он тоже устыдился своего слова...

— Откройте окна, двери, разломайте стены... Дайте мне воздуха!.. Дышать дайте!.. — опершись на плечи молодой жены и верного друга, больной метался, рвался, бился, просил лишь одного — воздуха.

Отец отозвал в сторону первого врача.

— Скажите, ради бога, что с ним?

— Положение, конечно, тяжелое, но если вовремя принять меры... — солгал врач.

— А как вы думаете, доктор? — обратился отец к другому.

— Мм... Если срочно доставить его в Москву... — солгал и другой.

— Да что за болезнь такая? Как она называется? — спросил отец третьего.

— Это — смерть! — вырвалось у него.

— Как? Как вы сказали? — переспросил изумленный отец.

— Смерть! — повторил врач.

— А... А лекарства? Ведь...

— Единственное лекарство от этой болезни — смерть! — врач надел шапку и вышел. Остальные последовали за ним.

— Ну, что? Что они сказали? — бросилась к отцу молодая женщина.

— Сказали, что все будет хорошо! — солгал отец.

— Что там происходит? — спросило Море у Солнца.

— Умирает Человек.

— Как — умирает? А что делают врачи?

— Врачи ушли! — пожало плечами Солнце.

— Побудь с ним ты!

— Но мне нельзя останавливаться!

— Побудь с ним! — повторило Море.

— Чем я ему помогу? Ведь его покинули даже люди!

— Люди!.. Люди очень часто и легко покидают друг друга... Но ты можешь спасти его! Побудь с ним!

— Не могу... Единственное, что в моих силах, — вернуться к нему завтра в это же время...

Солнце покинуло комнату, перешагнуло через перила балкона и удалилось.

— Уходишь? — спросило Море.

— Ухожу — ответило, не оборачиваясь, Солнце.

— Любовь — это лишь чувство близости, ставшее привычкой, и только! — изрек юноша и прикрыл пуп лежавшей навзничь девушки теплым белым камушком.

— Вы так думаете? — спросила девушка, не откры-

вая глаз, и грациозным движением красивой руки сбросила камушек.

— Достаточно! Есть пять калорий! Теперь ложитесь вверх спиной! — хриплым голосом объявил репродуктор.

Девушка перевернулась.

— Это не я думаю, а так оно и есть! — Юноша дрожащей рукой погладил девушку по спине — от шеи до обворожительных округлостей.

Девушка быстро присела, из-под обведенных черной тушью ресниц метнула в юношу взгляд голубых глаз.

— Ого, какой вы быстрый!

Юноша вздрогнул, увидев ее упругую загоревшую грудь и коричневые соски.

— Я-а? — проговорил он глупо.

— Да, вы! — повторила девушка и взглянула на Солнце.

Не устояв перед соблазном, Солнце сжало горячими своими руками плечи и бедра девушки. Та вскочила, — возбужденная, взбудораженная. Тогда Солнце обхватило ее грудь. Девушка задрожала.

— Пусти ее! — крикнуло Море.

Солнце улыбнулось.

— Отпусти ее ко мне! — попросило Море.

— Бери! — Солнце слегка подтолкнуло девушку. Она бросилась в море. Сотни алчных, горящих глаз провожали ее.

— Ах, вот это — жизнь! — простонала, млея от удовольствия, девушка.

— Вот это — жизнь! — подтвердило Солнце.

— Вот здесь, батюшка, раздевайтесь здесь! Тут народу меньше..

Милиционер опустил на песок и указательным пальцем смахнул выступивший на лбу пот. Молодой священник огляделся, снял с головы фиолетовую скуфью, бросил ее на песок, потом снял с шеи тяжелый серебряный крест, положил его рядом со скуфьей и прикрыл их белой рясой.

— Остались бы уж на Синопском пляже, людей там было не больше! — проговорил священник то ли обиженно, то ли с иронией.

— Море без людей в такое время не бывает! — ответил милиционер. Он начал раздеваться, в душе проклиная начальство. «Вот не было заботы, так подавай! Ухаживай тут за попом!..»

Милиционер вошел в воду.

— Теплая? — спросил священник.

— Кипяток! Спускайся, батюшка! — Милиционер приготовился нырнуть.

— Слышь, поди-ка сюда, ради бога! — позвал его священник. — Убери их отсюда, неловко как-то... — И он искоса взглянул на лежавшие рядом рясу, милицейскую фуражку и револьвер.

Милиционер нехотя вылез из воды. Подумав немного, он прикрыл фуражку брюками, а револьвер — гимнастеркой.

— Так сойдет?

— Зачем ты его тасил с собой? — спросил священник, вступая в воду.

— А что же мне делать, батюшка? У тебя — крест, у меня — револьвер. Мой крест — оружие!

— Крест сатаны! — перекрестился священник и бы-

стро с головой окунулся в воду. Спустя минуту он вынырнул, щурясь от удовольствия.

— Вот это — жизнь!

С золотым крестиком на груди, чернобородый, со спадающими на плечи мокрыми, длинными волосами, он напоминал сбежавшего из дому хиппи. Милиционер же — стройный, аккуратно подстриженный, свежевыбритый — выглядел вполне респектабельно.

— Смотри-ка, батюшка, какие девушки строят тебе глазки!

Священник обернулся. В нескольких шагах от них группа обнаженных девчат весело переговаривалась, вызываяще поглядывая на молодого священника.

— За монаха, что ли, принимают меня?!

Милиционер рассмеялся.

— Девки — как куропатки! Нам бы их сейчас, а, батюшка?

— Мм-м... Не отказался бы! — улыбнулся священник. «Отличный парень, сукин сын! Приспичило же дураку идти в милиционеры!» — подумал он и бросился в воду.

«Отличный парень, сукин сын! Приспичило же дураку идти в священники!» — подумал милиционер и последовал за ним.

— А семья-то у тебя есть, батюшка? Жена, дети? — спросил он, подплывая к священнику.

— Пока нет.

— Ты что, святой дух?

— Святой дух — один на свете! — ответил священник и лег на спину.

— А говорили — три?! — усмехнулся милиционер.

— Как это — три?! — священник быстро перевернулся в воде.

— А так! Отец, сын и дух святой! — гордо отпарировал милиционер.

— Так это — триединое божество, трое в одном лице, парень!

— Так не бывает, батюшка!

— Бывает! Видишь солнце? Оно ведь тоже триедино: диск, нимб и свет. Понял? Три неразделимые части одного целого! Понял?

— Конечно! — улыбнулся милиционер.

Священник вылез из воды и лег на раскаленный песок.

— Как тебя звать, батюшка? — спросил вдруг милиционер.

— Нодар. — Священник взял камушек, поиграл им на ладони, потом размахнулся и бросил его в море.

Милиционер прыснул.

— Ты чего? — спросил священник.

— Я думал, ты — Онуфрий, или Лука, или еще кто в таком же роде... Калистрат, что ли! А ты, оказывается, Нодар! — И он закатился смехом.

Глядя на хохочущего милиционера, священник заулыбался. Потом встал и хлопнул его по плечу:

— Ладно, одевайся!

— Побудем еще, батюшка!

— С удовольствием бы, да скоро начало конференции... — Священник стал одеваться. Из-за поворота выехала черная «Волга». — Вот видишь, уже и машина подошла!

— Еще немного, батюшка!

— Да говорю тебе, с удовольствием остался бы

здесь хоть до утра, но мне выступать на конференции!..
Пошли!

Облаченный в рясу, с огромным крестом на груди, священник рядом с милиционером, уже надевшим форму, почему-то напоминал арестанта.

— Вот печет, черт бы его взял! — проворчал милиционер.

— Это ты про солнце?!

— Не про луну же!

— Перекрестись сейчас же! Перекрестись и попроси у бога прощения! — приказал священник.

Милиционер удивленно взглянул на него. «За кого он меня принимает?» — подумал он, поправляя фуражку. Священник понял свою оплошность и примирительно произнес:

— Негоже роптать на Светило... Ведь оно — вечный образ солнечной ночи!

— Это еще что за чертовщина — солнечная ночь?

Священник обмер.

— О господи! Прости его, грешного, ибо по глупости своей не ведает слов своих!

— Нет, серьезно, батюшка, что такое солнечная ночь?

— Бог!

— Как же это — и солнце, и ночь?

— Да. Есть солнце. И свет его настолько ярок, что в глазах человеческих темнеет от него. Потому — ночь.

Милиционер недоверчиво улыбнулся.

— Взгляни на солнце! — приказал священник.

Милиционер поднял голову и с минуту смотрел на сияющий диск солнца. Не выдержав, он зажмурился.

— Ну? Смотри, смотри!

— Не могу, батюшка!

— А ты заставь себя!

Милиционер повиновался. Лучи солнца раскаленными лезвиями вонзались в зрачки его глаз, но милиционер терпел.

— Ну, какого оно цвета? — спросил священник.

— Медного.

— Погляди еще!

После минуты нестерпимой боли милиционер закрыл глаза рукой. Закрыл и вскрикнул:

— Потемнело! Батюшка, солнце потемнело!

Священник молча направился к машине...

— Слышишь? — спросило Море.

— Слышу! — ответило Солнце.

— Это правда?

— Глупости! Разве Человек может постигнуть меня?

— Ты же его сотворил! — улыбнулось Море.

— Неправда! В сотворении его я не принимал никакого участия! Он существовал до моего пришествия, и не я — он сам нарек себя Человеком! Я и не ведаю — кто он, когда и откуда он появился!

— Дельфин, Дельфин! Я — Чайка! Справа от вас — большой косяк! — передали радиogramму с вертолета на сейнер.

— Я — Дельфин! Вас понял! — ответили с сейнера. И тотчас же в воду стала опускаться огромная сеть. На лазурной морской глади запрыгали белые поплавки.

— Уходите подальше, за вами гонятся люди! — предупредило Море рыбный караван. Косяк круто изменил направление.



— Дельфин! Косяк уходит влево! Берите курс против солнца! Курс — против солнца! — предупредили с вертолета рыболовов.

Сейнер развернулся, стал против солнца и полным ходом пошел наперерез отступавшему косяку.

— Опускайтесь ниже! Глубже! — звало Море, но было уже поздно. Косяк оказался в сетке.

— Поздравляем! — передали с вертолета.

— Спасибо! — ответили с сейнера.

— Конец! — испустило стон Море.

Подняли сеть, и море окрасилось кровью раздавленной собственной тяжестью рыбы. Над палубой, крича, закружились голодные чайки. К берегу заспешили любители рыбы.

Солнце золотой рукой извлекло из сети пригоршню рыбы и сверкающими серебряными монетами рассыпало ее по палубе.

— И так каждый божий день! — пожаловалось Солнце Морю, окуная в воду окровавленную руку.

— И так каждый божий день! — вздохнуло Море.

В промежутке времени с часу до четырех люди на берегу моря исчезли, словно земля их проглотила. Потом они вновь вылезли из своих нор и стали заниматься тем же, чем занимались с шести утра до часу.

Солнце возлежало на легких белых облаках и искомса поглядывало на мир.

К вечеру, когда Солнце совсем уже собралось было на покой, Море тихо сказала:

— Человек, которого ты покинул утром, умер...

— Как, кончился? Исчез? — помрачнело Солнце.

- Нет. Люди не исчезают и не кончаются.
- Что же осталось от него?
- Несчастный отец и несчастная жена.
- И больше ничего?
- Остался эскиз незаконченной фигуры. Маленький, незаконченный эскиз...
- Чья фигура?
- Не знаю. Она без головы...
- Как она выглядит?
- У фигуры стройный стан, длинные, вскинутые вверх, красивые руки. Поет она, танцует, плывет, готовится к полету, или хочет кого-то обнять, — не знаю... Может быть, спешит к кому-то, или от кого-то бежит, — не знаю...
- Что это за фигура?
- Об этом никто не узнает. Свой замысел Человек унес с собой.
- Люди сами не ведают, чего хотят, — сказала Солнце.
- Не говори этого! — возразило Море.
- О чем он просил перед смертью? — спросило Солнце.
- О воздухе! — ответило Море.
- И что же?
- Дали.
- И что же?
- Не хватило!
- Не хватило воздуха? — удивилось Солнце.
- Не хватило! — вздохнуло Море.
- Солнце молча скрылось за облаком.
- Море слегка взволновалось.
- Перед тем, как отойти ко сну, Солнце еще раз

взглянуло на Землю. Но оно стояло слишком низко, чтобы в толпе ожидавших заката людей различить мужчин и женщин. Люди, похожие друг на друга, лежали на песке, и от их горячих тел поднималось легкое дрожащее марево.

Тогда Солнце протянуло длинную золотую руку, коснулось лежавшего на берегу бревна и спросило у Моря:

— Ты сейчас его вынесло, или я до сих пор не замечал его?

За последние пять лет бревно это так примелькалось Морю, что вообще уже не привлекало его внимания. Сейчас Море взглянуло на него и рассмеялось:

— Это — не бревно, Солнце, это — Человек!

— Спроси его, что он здесь делает?

— Не стоит... На каждый мой вопрос он отвечает просьбой... Нет предела его желаниям...

— А что он просит?

— Когда-то просил у меня хорошей погоды. Потом — дров. Затем он выпрашивал рыбу, песок, соль... Просил землю... И вот уже тридцать три года он просит возвратить ему сына. Где я его возьму?!

— Раз ты отняло у Человека сына, ты же и должно вернуть его!

— Не я! Сына у него отнял другой, а взвалил вину на меня!

— Скажи ему — я желаю с ним говорить.

— Человек! — Море влажной рукой тронуло его голую ногу. — С тобой хочет говорить Солнце!

Человек промолчал.

— Ты слышишь меня, Человек? Я — Солнце, и я желаю говорить с тобой!

— Говори, я слушаю тебя! — ответил Человек, искося взглянув на Светило.

— Тебе понятен мой язык?

— Понятен язык и твой, и Моря.

— Почему же ты не отвечаешь ему?

— Все, что хотелось сказать, я сказал ему в дни своей молодости... Теперь я прошу его лишь об одном — вернуть мне сына!

— Ты просишь о невозможном!

— Я не прошу милостыни, я требую своего!

— Ты горд, Человек! — сказало Солнце.

— Да! Горд и могуч! — ответил Человек.

— На что же ты способен?

— А ты?

— На все! Я могу осушить море, выжечь степь, превратить в пустыню лес, погасить жизнь...

— А еще? — улыбнулся Человек.

— Еще? На, гляди!

И Солнце вдруг обернулось красным обожженным горшком, потом — опрокинутым кувшином, затем — грибом; потом оно превратилось в зайца; потом — в волка, пожиравшего того зайца; потом — в слона, тигра, льва; одно мгновение Солнце красовалось в облике царской короны, и, наконец, снова стало Солнцем.

— Я вскоре уйду, и мир поглотит тьма. Знай, Человек, тьма — это тоже я! Я — это все! — сказало Солнце и устало прилегло на краю небосвода.

Человек улыбнулся.

— Чему ты улыбаешься? — спросило Солнце.

— Все — это я! — ответил он.

— Да? А чем ты это докажешь?

— Стоит мне захотеть, и ты исчезнешь, Солнце! Ты

существуешь во мне. Одно мое движение, и тебя не станет. Вот! — Человек закрыл рукой глаза. — Все! Тебя уже нет!

— Ты нагл, Человек! — воскликнуло Солнце.

— Да! — согласился Человек. — Но я сказал не все. Я могу размельчить, разделить, раздробить тебя! Вот! — Человек указательными пальцами оттянул веки. И Солнце вдруг почувствовало, как в глазах Человека оно раскололось на мельчайшие сверкающие осколки. И у Солнца сперло дыхание.

— Отпусти меня, Человек! — взмолилось Солнце.

Человек отвел руки от глаз.

Солнце вздохнуло полной грудью.

— А что я тебе говорил? Вселенная — это Человек, и ты служишь ему. Ты сейчас уходишь от меня, уходишь к моему брату — Человеку, а завтра вернешься сюда, чтобы служить мне.

— А если я не вернусь? — спросило Солнце, и в голосе его не было уверенности.

— Вернешься! Ровно в шесть утра ты придешь сюда и весь день будешь служить мне!

— Ты слышишь? — обратилось оскорбленное Солнце к Морю.

— Слышит! — ответил вместо Моря Человек.

Дремавшее Море слышало все. Но ему было лень отвечать. И Море прикинулось спящим.

Солнце взбесилось. Назло Человеку оно готово было сейчас же вернуться обратно, но Время — великий, немолчимый властелин всего и вся — брало свое: Солнце уже наполовину скрылось в воде...

И тогда, спеша высказать свое, Светило воскликнуло:

— Человек! Всею на свете определено свое место!

Корова знает, что она должна жить и пастись на земле; дельфину известно, что для жизни ему дано море, а для пищи — рыба; птице велено летать в воздухе и спать на деревьях, пресмыкающимся — ползать на животе и жить в норах... И лишь ты один рыщешь, бродишь, скитаешься, не находя себе места, не зная покоя! Угомонись, Человек! Живи или на суше, или в воде, или в воздухе! Что ты за существо, Человек?! Откуда ты взялся?! Чего желаешь?! К чему стремишься?!

Человек не слышал этих слов Солнца, ибо оно почти уже скрылось за горизонтом.

В последний раз краешком глаза окинуло Светило опустевший берег. Рядом с Человеком стояло его маленькое подобие — Человечек.

— С кем ты разговаривал, дед? — спросил Человечек.

— Сам с собой, внучек! — ответил Человек.

— Гляди, дед! Солнце светится зеленым светом!

— «Да будут счастливы узревшие зеленый луч солнца!» — так гласит народная молва! — сказал Человек и ласково погладил Человечка по голове.

Там, где только что скрылось Солнце, еще несколько мгновений мерцало зеленое сияние. Но, кроме ребенка, никто из людей его не заметил...

На другой день ровно в шесть часов утра Солнце взошло и золотой диадемой увенчало гору Эрцаху.

ЖЕЛАНИЕ

Было утро — весеннее, свежее, бодрое, воздух — чистый и прозрачный. Я стоял на полянке, усыпанной цветами, под вековой, засохшей липой и всматривался в даль. На небосклоне рос странный вихрь — легкий, переливающийся всеми цветами радуги. Кружась, словно в веселом танце, вихрь быстро приближался. Вдруг он превратился в нежнейшее, изумительной красоты покрывало, и покрывало обвилось вокруг старой липы. То, что произошло затем, — не было чудом. Было бы чудом, если б этого не произошло: дерево ожило, вздохнуло, зашумело свежей зеленой листвой. А радужное покрывало обернулось огромной пестрой бабочкой и взобралось на самую верхушку липы.

— Спустись вниз! — попросил я.

Бабочка, порхая по веткам, опустилась на землю и предстала передо мной синеокой, розовощекой, златокудрой девочкой в цветастом платье.

Девочка взглянула на меня и восхитительно улыбнулась. Было ей лет семь-восемь.

— Здравствуй! — прошептал я, холодея при мысли, что это чудное видение вдруг может исчезнуть.

— Здравствуйте!

Ответ девочки проник в мое сознание, как чарую-

щая музыкальная фраза, как отрывок какой-то неземной, сказочной песни. И это длилось потом, во время всей нашей беседы.

— Ты — радуга?

— Нет.

— Весна?

— Нет.

— Как тебя звать?

Девочка произнесла странное, незнакомое и непонятное для меня слово, — я его не запомнил.

— Кто же ты?

— Я — это все.

— Как все?

— Так! — Девочка удивилась моей недогадливости. У меня мелькнуло страшное подозрение.

— Ты... Ты прилетела с другой планеты? — спросил я и застыл в ожидании ответа.

Девочка кивнула головой. Я прикусил губу и, почувствовав во рту соленый вкус крови, понял что все происходящее не мерещится мне.

— А как называется твоя планета?

Девочка произнесла странное, незнакомое и непонятное для меня слово, — я его не запомнил.

— Какова ваша планета?

Девочка пожала плечами.

— Ну... Как тебе объяснить... Что там, на вашей планете — горы, моря, долины? Холодно у вас или жарко? Одним словом, какая она?

— Такая, как я.

— Прозрачная, бесплотная, многоцветная?

Девочка улыбнулась и кивнула головой в знак согласия.

— А далеко она?

Девочка не поняла смысла слова «далеко». Я простер руку к небу и произнес:

— Далеко-о-о, далеко-о-о...

— Далеко-о-о... — повторила девочка.

— Кто тебя научил нашему языку? — продолжал я.

— Я сейчас учусь, — ответила она.

— А ваш язык каков?

Девочка раскрыла свой пунцовый ротик и... Все вокруг запело. Пели земля и воздух, цветы и деревья, пела помолодевшая липа... И я, словно рыба в аквариуме, плывал в этом странном царстве сладчайших звуков музыки... Так длилось с минуты.

— Это — ваш язык?

— Да. Он тебе нравится?

— И ты думаешь, что он может быть понятным для всех?

— Конечно!

— Каким образом?

Девочка запела вновь. Теперь она рукой указывала на окружающие нас предметы, и название каждого из них звучало в песне своей особой мелодией, не нарушая, однако, общей гармонии. Меня охватило блаженство, равного которому я не испытывал никогда в жизни. И будь я уверен, что она будет без конца продолжаться после моей смерти, я, не раздумывая, пожелал бы мгновенной смерти.

Поняв мое состояние, девочка умолкла.

— Подойди ко мне! — попросил я.

Девочка приблизилась.

— Еще ближе. Я хочу обнять тебя. Можно?

Девочка подошла ко мне вплотную. Я раскрыл объ-

ятия, прижал ее к груди и вдруг почувствовал, как тело этого неземного создания растворилось во мне, наполнив мое сердце теплом и радостью.

— Девочка, где ты? — воскликнул я, ощущая пустоту в груди, как это бывает с детьми на качелях.

Девочка стояла передо мной и улыбалась.

— Как ты здесь очутилась, девочка?

— Сбежала от мамы.

— И ты не боишься?

— Боюсь? Чего мне бояться?

— А если ты... А если мама не сможет найти тебя!

— Как только захочет, она найдет меня!

— А если ты сама захочешь домой, к маме?

— Я пожелаю об этом, и я окажусь дома.

Я понял все, и я не понял ничего... Категории «как», «почему» — потеряли всякий смысл... В этом милом ребенке странно, непостижимо для меня, совмещались простейшие и сложнейшие понятия...

— На нашей Земле ты впервые?

— Впервые.

— А на других планетах?

Девочка кивнула головой.

— И ты встречала жизнь на других планетах?

— На очень многих.

— Какую? Подобную нашей?

— Разную.

— А все же?

— Я не знаю, как это выразить... Я сама становлюсь такой, какая жизнь меня встречает на чужих планетах...

Наступило молчание.

— А ты кто? — спросила вдруг девочка.

Вопрос был настолько неожиданным, что я растерялся.

— Ты... Ты не знаешь, кто я?

— Не знаю!

— Я — человек... Питаюсь мясом, растениями, водой, дышу воздухом, живу солнцем...

— А сам? Сам ты кто такой?

— Я же сказал — человек. У меня были родители, у них — свои родители, у тех — свои, и так далее...

— А кто были самые первые родители?

— Этого я не знаю.

— Значит, ты не знаешь, кто ты?

— Мм... Не знаю...

— Что ты тут делаешь?

— Здесь? Ничего особенного... Стою вот, дышу воздухом... Я болен. Ты знаешь, что значит «болезнь»? Каждое утро я прихожу сюда, на эту полянку, чтобы насмотреться на красивые цветы, надышаться свежим воздухом, чтобы вернуть моему телу свежесть, как вернула ты свежесть вот этой старой липе.

— А что с тобой? — спросила девочка озабоченно.

— Я перенес тяжелую болезнь сердца. Ты знаешь, что это такое — сердце?

— Н...нет.

— У каждого человека есть сердце. Без сердца человек не может жить. И вот несколько лет тому назад мое сердце дало трещину... Вот, погляди!

Я приложил к своей груди нежную розовую ручку девочки и почувствовал, как мое сердце наполнилось приятным живительным теплом.

— Да... Теперь я хожу сюда, вдыхаю аромат цве-

тов... Сейчас мне немного лучше, но возвратится ли моему сердцу прежняя сила?

Девочка промолчала.

— А вы не болеете? — спросил я.

— Как же, болеем.

— В чем заключается ваша болезнь?

— Мы бледнеем, теряем красивую окраску.

— Как же вы лечитесь?

— Мы передаем свои цвета друг другу. Мы, как бы это сказать... Перевоплощаясь друг в друга, переходя из одного цвета в другой, дарим друг другу вечное цветенье... Название нашей планеты на вашем языке прозвучало бы примерно так — планета вечного цвета... Хорошо?

— Чудесно!

Глаза у девочки засияли от удовольствия.

Вдруг поляна вздрогнула. Цветы поблекли. Липа вспыхнула пурпурным свечением. На небосклоне засверкали огненные сполохи. Издалека на нас надвигалось нечто вроде северного сияния.

— Моя мама! — воскликнула девочка.

И тотчас все вокруг утонуло в чарующих звуках чудесной, неземной симфонии эфира. Описать ее — невозможно. Мне казалось, что каждый из мириадом цветов, усыпавших поляну, превратился в своеобразный музыкальный инструмент, издающий неповторимые, нежные, хватающие за душу звуки. Это был великий гимн природы, это была великая песнь Вселенной, это было слияние душ двух жителей планеты вечного цвета — матери и дочери... Я не помню, как долго длилось это сказоч-

ное очарование... Когда я очнулся, передо мной стояла улыбававшаяся девочка.

— Прощай, человек! — сказала она.

— Уходишь? — спросил я упавшим голосом.

— Должна идти. Мама зовет.

— Возьми меня с собой! Возьми, умоляю тебя!

— Ты покинешь свой дом? — удивилась девочка.

— Если моему сердцу не суждено исцелиться, если меня ждут смерть и разложение, не все ли мне равно? Я боюсь смерти... Возьми меня с собой, даруй мне твои цвета, твою прозрачность, твое бессмертие... Возьми!

Я опустил перед девочкой на колени.

— Но я не могу взять тебя с собой, человек! — Девочка с сожалением развела руками.

— Почему?

— Потому, что ты — существо плотское. Ты должен стать цветом, желанием, и тогда я смогу пожелать тебя... И взять тебя к себе...

— Так пожелай!

— Как? Ведь я здесь, с тобой!

— Возвращайся к себе, в свою страну вечного цвета, и там пожелай меня!

— Но для этого ты сам должен превратиться в цвет, в желание!

— Когда же, когда?!

— Это должна решить твоя мать — твоя Земля.

— И после этого?..

— После этого я пожелаю тебя.

— Спасибо!

Я встал.

— Обними меня еще раз!

Она подошла. Я раскрыл объятия, прижал ее к груди и снова почувствовал, как тело этого неземного создания растворилось во мне, наполнив мое сердце теплом и радостью. Потом она покинула меня, и тут же острая боль пронзила мое сердце. Я вздрогнул.

— Что с тобой? — спросила девочка, и мне показалось, что она почувствовала мою боль.

— Ничего, моя хорошая! До свидания!

— Прощай, человек! — Девочка помахала рукой.

...Потом все повторилось, но в обратной последовательности. Девочка обернулась огромной пестрой бабочкой, потом бабочка превратилась в нежнейшее, изумительной красоты покрывало, потом покрывало закружилось, словно в веселом танце, и стало быстро удаляться, потом на далеком небосклоне образовался легкий, переливающийся всеми цветами радуги, вихрь, и наконец все исчезло. Остались лишь воспоминания о неповторимом, сказочном сне, о чудесной, захватывающей душу симфонии эфира и — как свидетельство всего происшедшего — эта помолодевшая, зеленеющая свежей листвой липа...

Я закончил свой рассказ. Старшая дочь окинула взглядом — от корней до макушки — нашу красавицу-липу и недоверчиво спросила:

— И ты действительно видел эту липу высохшей и больной?

— Видел.

— А что было потом? — спросила младшая, облизывая пересохшие от волнения губы.

— Три дня и три ночи я лежал здесь, на этой поля-

не, и вслушивался в ту странную песнь цветов... Я и сейчас слышу ее, эту мелодию... А вы?

Дети прислушались, потом отрицательно помахали головой.

— А ну, ложитесь на землю и вслушайтесь внимательно!

Девочки легли, закрыли глаза и минут пять лежали, не шелохнувшись, не издав ни звука.

— Ну, как, слышите?

— Нет! — ответила младшая.

— Слышу, но очень, очень слабо, — сказала старшая.

— Это ничего, что слабо. Главное, что слышишь!

— А кто-нибудь, кроме тебя, видел ту девочку? — спросила старшая.

— Нет, представь себе, никто! Хотя я расспрашивал многих.. Никто ее не видел, и никто мне не верит!

— А мама? — спросила младшая.

— Что — мама?

— Мама верит?

— Нет.

— Что она говорит?

— Говорит, что я тронулся... Вам она тоже сказала?

Девочки опустили головы.

— А вы? Вы верите?

Дети переглянулись, потом кивнули головой, но промолчали.

— Ты не закончил... Что было дальше? — нарушила молчание старшая дочь.

— Ничего... С тех пор я каждое лето, почти каждый день прихожу сюда, становлюсь под этой липой и жду... Жду, когда у моей маленькой подружки появится жела-

ние увидеть меня, когда она явится мне в виде семицветного вихря и возьмет меня с собой.

Молчание длилось нестерпимо долго.

— Явится и возьмет тебя с собой... — прошептала наконец старшая.

— А мы? — спросила младшая.

— Вы?

— Что же мы будем делать без тебя? — Глаза девочки наполнились слезами, нижняя губа скривилась, и подбородок задрожал.

Под левым соском я почувствовал жжение. Я подошел к девочке, обнял ее и крепко прижал к груди. Я почувствовал, как тело этого дорогого мне создания растворилось во мне и наполнило мое сердце теплом и радостью.

НЕ БУДИ!

Прошлый сентябрь я провел в деревне.

Однажды воскресным утром ко мне зашел друг моего детства Митуша Маршания и уговорил сходить на речку — порыбачить. Вспомним, говорит, молодость!.. Через час-другой корзина была полна рыбой — усачи попались один крупнее другого!

Возвращаясь домой, мы свернули к колхозной конторе. На крохотной круглой площадке перед ней было многолюдно и оживленно. Я поздоровался с соседями, перебросился с ними парой-другой слов и попросил табаку. Табака, конечно, ни у кого не оказалось, — кто сейчас в деревне станет возиться с табаком?

— Я принесу табак, дядя, возьму у дедушки! — крикнул мне полуголый мальчуган и исчез, словно ящерица в расселине скалы.

В ожидании мальчика я подошел к стенду с фотографиями не вернувшихся с Великой Отечественной войны сельчан и невольно стал считать их.

Сто пятьдесят два молодых лица — наивных и удивленных, хмурых и улыбающихся, задумчивых и веселых, гордых и беспечных — глядели на меня со стенда. Одежды ребята были по-разному — одни в штатском, другие — в военных гимнастерках. Некоторые фотоснимки

были вырезаны из семейных альбомов и затем увеличены.

Я вглядывался в лица этих людей — ушедших и neverнувшихся — и в памяти всплывали картины — живые, яркие, словно это было вчера...

...Даниел Базилия... Война застигла его за самым что ни на есть мирным занятием: взобравшись на японскую хурму, он собирал «изабеллу»*. Опорожнив полную корзину, почтальон Бакур пожелал Даниелу благополучного приземления и ушел. В поднятой наверх пустой корзине Даниел нашел повестку. На землю-то он спустился благополучно, и на войну ушел с песней, да с войны так и не вернулся...

...Важико Центерадзе... На третье утро после свадьбы его с трудом выволок из дома, от молодой жены секретарь парторганизации колхоза Людвиг Квитаишвили. Ох, и парень был Важико — горячий, веселый, неугомонный!

— Не убирай постель, Тухия! — крикнул он зареванной жене. — Набью морду Гитлеру и через два дня вернусь к тебе!

Не вернулся...

...Тамаз Джабуа... В то лето он перешел в десятый класс. Трижды его гнали из военкомата: «Не так уж плохи наши дела, чтоб забирать на войну неоперившихся птенцов... Катись отсюда!» Он сбежал на фронт. Аттестат зрелости был выдан... покойному Тамазу Джабуа. Теперь этот аттестат вместе с фотографией Тамаза

* «Изабелла» — сорт винограда. «Изабеллу» обычно сажают под деревом, по стволу которого лоза затем и вьется.

висит в классе, где он учился. А мать его с тех пор не снимает траура...

...Цензор Челидзе, Барнаба Магулария, Миша Гогиберидзе, Ладико Антидзе, Бучута Каландадзе, Лео Пощишвили...

— А это кто? — спросил я.

— Не узнаешь? — удивился Митуша.

— Нет, хоть убей, не могу вспомнить!

— Да ты что?! Ведь это Кукури, водовоз! — сказал обиженно Митуша и стал рукавом протирать стекло над фотографией Кукури.

...Боже мой, как я мог забыть Кукури, брата Нателы!

— А где же его лошадь? Почему здесь нет фотографии его лошади?

Все, кто знал и помнил Кукури, заулыбались. Рассмеялся и я. Потом в памяти моей всплыл и сам Кукури. И щемящая тоска овладела мною...

Кукури был писаным красавцем. Работал он водовозом — развозил по чайным плантациям воду в огромной бочке. Для девушек каждое появление Кукури было праздником. Окружив бочку, они с веселыми шутками и прибаутками обливались водой сами и обливали Кукури. А он молча стоял и улыбался. Уж кто-кто, а Кукури знал себе цену.

— Уходи отсюда, видишь — работа стоит! — упрашивала Кукури бригадирша Нина.

— Дай наглядеться на твоих красавиц! — упрашивал бригадиршу Нину Кукури.

— А план? Ты, что ли, будешь работать за них? Катись, катись! — выталкивала Нина упиравшегося парня.

— Нина, прогонишь его — вообще перестанем работать! — кричала девушка.

— Кукури, чтоб ты ослеп, не видишь, что ли, как пылает мое сердце? Полюби меня! — смеялась другая.

— И что стоило твоей матери родить дюжину таких, как ты, парней? Хватило бы на всю нашу бригаду!

— Неужели я не нравлюсь тебе, Кукури? Посмотри на меня как следует!

— Уймись, бесстыдницы! Виданное ли дело, чтоб девки так теряли головы из-за парня?! — набрасывалась Нина на девчат.

Промокший с ног до головы Кукури, посмеиваясь, взбирался на свою повозку и трусил к соседнему участку.

Осенью 1941-го Кукури вместе с его лошадей призывали в армию.

Помню, приехал тогда в наше село Филипп Махарадзе* и произнес в переполненном клубе такую речь:

— Люди, братья и сестры, видите, что творит кровавый Гитлер? Вставайте, люди, ройте окопы, точите топоры, перекрывайте дороги! Не видать врагу нашей родной Гурии!

Потом он окинул взглядом рассеявшихся на полу учеников и сказал:

— А вы, ребята, помогайте старшим! Страна наша

* Филипп Махарадзе (1868—1941) — видный партийный и государственный деятель. С 1938 года был Председателем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

принадлежит вам, так не отдавайте ее на растерзание каннибалу Гитлеру!

Потом, усомнившись, видимо, в наших филологических познаниях, добавил:

— Не уступайте ни вершка нашей родной земли людоеду Гитлеру!

Той же ночью я выполнил наказ Филиппа Махарадзе: вырыл во дворе окоп, наточил топор и разработал детальный план взрыва нашего моста. Однако Митуша отверг мой план:

— Взрывать висячий мост — лишние хлопоты. Пережем канат, и баста! Погляжу я на Гитлера, как он переберется через Губазоули!*

На второй день после выступления Махарадзе на фронт ушла половина Гурии, — в том числе Кукури со своей лошадейю.

Думаете, Кукури отправился на сборный пункт верхом? Ничего подобного! С утра он вымыл, почистил лошадь, причесал ей гриву и хвост, потом покрыл красным атласом (атлас этот Кукури получил в виде премии за шелковичные коконы) и, торжественно вышагивая рядом с ней, явился в военный комиссариат.

Во дворе комиссариата состоялся митинг. Выступали с патриотическими речами, размахивали флажками и лозунгами, читали стихи. Местный поэт прочел от своего имени стихотворение великого Акакия Церетели. Поэт отправился на фронт вместе с Кукури и его лошадейю. Никто из них домой не вернулся.

* Губазоули — название реки.

А за месяц до этого был еще случай...

Как-то воскресным утром Кукури пригнал на базар свою единственную корову. Пригнал, привязал к чинаре, а сам уселся на валявшийся тут же камень. Рядом присела босоногая сестренка Кукури — Натела.

Корову никто не торговал, но от любопытных не было отбоя.

— За сколько продаешь корову, Кукури?

— Сколько дает молока твоя корова, Кукури?

— Молоко-то жирное у твоей коровы, Кукури?

— Как звать твою корову, Кукури?

Кукури одним отвечал, другим — нет.

Наконец появился Анания Нибладзе — человек, который при желании мог закупить весь базар, не то что корову.

— Продаешь, парень?

Кукури встал:

— Продаю, уважаемый Анания!

— Сколько просишь?

— Прошу три тысячи, уважаемый Анания!

— Многовато!

— Знаю, уважаемый Анания...

— Так скинь, коли знаешь!

— Для вас, уважаемый Анания, деньги — бумажки а для меня корова — все мое состояние...

— Зачем же ты ее продаешь? — усмехнулся Анания и самодовольно оглядел собравшихся.

Кукури промолчал.

— Тебя спрашиваю!

— Видишь эту полуголую девчонку, уважаемый Анания? — Кукури кивнул в сторону Нателы.

— Две пятьсот!

— Уже месяц девочка не ходит в школу, уважаемый Анания. Ей нужны платье и обувь...

— Отдай, парень, цена хорошая! — посоветовал кто-то.

— Да? А когда я пойду в армию, кормить мою мать и сестру будешь ты? — спросил Кукури советчика.

— Две восемьсот! — сказал Анания, извлекая из кармана кипу бумажек. Кукури, словно замороженный, глядел на огромные сторублевки.

— Забирай!

Анания быстро отсчитал деньги и передал Кукури. Тот долго и внимательно пересчитывал их, потом аккуратно завернул в газету и опустил в карман. Анания отвязал корову и обратился к стоящему рядом соседу:

— Как по-твоему, Акакий, хватит ее человек на шестьдесят? Дом завтра будем перекрывать.

— Вряд ли, уважаемый Анания!

— Так будут еще поросята, индюшки!

— Ну, тогда — конечно!

— Как-никак, корова! — Анания похлопал животное по спине.

Кукури удивленно глядел то на Ананию, то на соседа. Вдруг у него побледнели губы и раздулись ноздри.

— Зачем тебе корова, уважаемый Анания?

Анания рассмеялся.

— Как зачем? Зарезать! — ответил за него сосед.

— Зарезать?!

— А ты что думал? — удивился Анания.

Кукури тотчас же достал из кармана сверток.

— Вот деньги, уважаемый Анания! Возвращаю их обратно!.. Как это можно — зарезать корову!

— Ты что, с ума сошел?

— Нет, уважаемый Анания, скорее я дам зарезать себя, чем мою корову! — Кукури осторожно взял из руки Анании конец веревки, сунул ему в карман деньги и обернулся к сестре:

- Веди корову домой!
- Три тысячи рублей! — сказал Анания.
- Домой, говорю!
- Три двести!
- Не надо об этом, уважаемый Анания...
- Три пятьсот!

Натела остановилась. Кукури взглянул на босые ноги сестры, потом — на деньги, потом — на Ананию и, наконец, на корову. Он не произнес ни слова. Люди с нетерпением ожидали развязки этого необычного события.

Вдруг Кукури взорвался.

— Ты что, не слышишь меня? Марш сейчас же домой! — прикрикнул он на растерявшуюся сестру, потом сильно толкнул корову:

— Домой, корова, домой!

И корова пошла домой. За ней последовал Кукури.

— Болван! — проговорил Анания.

— Да он просто дурак! — добавил кто-то.

А случай, о котором я расскажу сейчас, произошел в феврале 1943 года, на уроке грузинского языка и литературы.

Мы — восьмиклассники бондисхидской средней школы — в ожидании учительницы Джоконды Мелимонадзе сидели у тлеющего очага, стараясь хоть немного отогреть окоченевшие руки и ноги.

Село Бондисхиди расположено по обоим берегам



знаменитой реки Губазоули (ее в народе называют второй артерией Гурии. Первая артерия, как известно, — это река Супса). Через реку перекинут висячий мост, давший селу название*. До сооружения моста село называлось Джварцма**, но не потому, что здесь был распят Христос, а потому, что именно здесь приняла мученическую смерть от набежавших со стороны Бахмаро*** татар известная каждому гурийцу монашка Центерадзе. Если не считать святой Шушаники и царицы Кетеван****, Центерадзе — первая женщина в мире, погибшая во имя христианской веры. Обо всем этом нам известно из лекций, прочитанных в нашем клубе руководителем кружка атеистов Агнесой Багатурия. И мы гордимся своим историческим прошлым.

Бондисхиди со всех сторон окружен небольшими деревушками Мециети, Чачиети, Буксиети, Цкварамети, Укунети, Квирикети, Какабети, Коколети и Ципнагвара. Дети, живущие в этих деревушках, после окончания своих начальных школ продолжают учебу в бондисхидской средней школе. Они ничем не отличаются от бондисхидских детей, разница разве только в том, что от бесконечного хождения по висячему мосту у бондисхидцев немного разболтались мозги, а у ципнагварцев глаза чуть печальней, чем у остальных их сверстников, и лица у них — невыспавшиеся. Объясняется это просто: от Ципнагвара до Бондисхиди добрых семь километров,

* Бондисхиди — висячий мост (груз.).

** Джварцма — распятие (груз.).

*** Бахмаро — высокогорная местность в Западной Грузии, курорт.

**** Кетеван — мать грузинского царя Теймураза I, в 1624 году была замучена иранским шахом Аббасом.

поэтому вставать им приходится на целый час раньше других учеников. Во всем же остальном Бондисхиди с окружающими его деревушками — обычное гурийское село, а его средняя школа — обычная сельская школа, не очень-то напоминающая Икалтойскую академию*.

Кукури и его сестра Натела жили в Ципнагвара. Я же, спасаясь от городского голода военных лет, — у своих родственников в Бондисхиди.

Итак, было февральское утро. И мы — озябшие восьмиклассники бондисхидской средней школы — толпились у тлевшего камина в ожидании преподавательницы грузинского языка Джоконды Мелимонадзе.

Она вошла в класс без обычного «Здравствуйте!» и «Садитесь!», бросила журнал на стол, подтащила к камину стул, села и протянула к огню побелевшие от холода руки.

— Что, дети, холодно? — спросила она после минутного молчания.

— Холодно, учительница!

— Сколько вас сегодня?

— Восемь из шестнадцати!

— Маловато!

— Ничего, мы начнем, остальные подойдут! — посоветовал Титико Чантурия.

— Где же они до сих пор?

— В дороге, наверно...

— Например?

* Икалтойская академия — высшая школа в Грузии, возникшая на грани XI—XII веков.

— Например, Натела Нижарадзе!

— Она придет? Не подведет нас?

— Не думаю, чтобы Натела была способна на такую подлость! — ответил Гури Гогиберидзе.

— А урок ты знаешь? — спросила вдруг учительница.

— Я? Конечно, знаю!

— В таком случае, пожалуйста, начни!

Скрип дверей спас Гогиберидзе.

В комнату вошла Натела.

— О-о-о, зачем ты так спешила! — воскликнула учительница.

— Мать у меня захворала, учительница! — солгала Натела и, устыдившись собственной лжи, потупила голову.

— Ладно, ладно, не накаркай здоровому человеку!

— А что мне делать, учительница? От моего дома до школы семь верст!

— Надо вставать пораньше!

— Когда пораньше — ночью?

— Не болтай глупостей!.. А урок ты выучила? — Натела еще ниже опустила голову. — Тебя спрашиваю, Нижарадзе?

— Нет, учительница!

В классе наступило неловкое молчание. Оно длилось довольно долго, и все это время учительница не сводила глаз с Нателы.

— Зачем же ты шла в школу? Нет, подумать только: вставать чуть свет, идти в такую даль, в снег, метель и мороз, и ради чего? Чтоб заявить учительнице: «Я не знаю урока!» Можно ли так рисковать из-за этих трех слов? Вдруг по дороге споткнешься, или сорвешься в овраг, или, не дай бог, волк из лесу выскочит! Ведь тогда

пропала ты и, что самое главное, пропали все мы! Зачем же поступать так неосторожно?! Не лучше ли сообщить телеграммой — так и так, урока не знаю, сожалею, но в школу сегодня не приду...

Классная комната ходуном заходила от хохота. Смеялась Натела, смеялась сама учительница...

— Ладно, иди сюда, погрейся! — Джоконда уступила Нателе свое место у камина, а сама подошла к столу, взяла книгу и начала:

— «Распоряжение». Рассказ Эгнатэ Ниношвили...*

Долго рассказывала наша учительница про жалкое, голодное, бесправное существование гурийского крестьянства, про такую же голодную, несчастную жизнь его верного заступника — Эгнатэ Ниношвили. Она рассказывала так тепло и проникновенно, что мы не могли сдерживать слез. Наши переживания достигли апофеоза, когда уставший, голодный и холодный Кацья Мунджадзе, посланный сельскими властями караулить железнодорожный путь, прилег вздремнуть и, боясь прозевать поезд, положил голову на рельс.

Дочитав до этого эпизода, учительница закрыла глаза и продолжала шепотом, наизусть:

«Положив голову на рельс, Кацья спал... Сияла полная луна, озаряя небритое лицо Кацьи. В кустах сладчайшей трелью заливался соловей. Вот вдали показался поезд... Кацьи снится сон: он почувствовал приближение

* Ниношвили (наст. фамилия Ингороква) Эгнатэ (1859—1894) — грузинский писатель. «Распоряжение» — один из его рассказов. Кацья Мунджадзе — персонаж этого рассказа.

поезда, вскочил, взял ружье на караул, вытянулся... Подходит поезд — вагоны из чистого золота, и люди в них — в золотых мундирах. Они сердито смотрят на Кацию — дескать, как ты посмел спать на посту!.. «Боже мой, — думает Кация, — сошлют, чего доброго, меня в Сибирь! Пропала бедная моя семья!..» Колеса паровоза скользнули по рельсам, где лежал Кация, и продолжили свой бег...»

Учительница умолкла. Мы плакали навзрыд.

— А дальше? — спросил, глотая слезы, Сосико Гигинейшвили. Учительница, с трудом уняв дрожь в голосе, закончила рассказ:

— «На рассвете путевой обходчик нашел на рельсах обезглавленный труп. Это был Кация Мунджадзе...»

Минут пять в классе длилось молчание. Потом учительница подошла к камину, подняла Нателу, села на свой стул и спросила:

— Есть вопросы, дети?

Вопросов не было — умер Кация, и все тут. Какие еще вопросы? И вдруг раздался голос Нателы:

— У меня вопрос, учительница!

— Говори!

Натела не спеша подошла к своей парте и спросила:

— Ежели у Кации оторвало голову, кто же рассказал про его сон?

Разразись в классе гром и молния, и провались все мы в преисподнюю, Джоконда была бы удивлена меньше! И мы заржали так, что в окне зазвенели стекла. Натела села и стала удивленно оглядываться — дескать, что я такого сказала?

Когда класс унялся, учительница подняла покрасневшее лицо:

— Нижарадзе, встань!

Натела встала.

— Собери книги!

Натела собрала книги.

— Вон из класса!

Натела двинулась к двери.

— И чтоб глаза мои не видели тебя на моих уроках!

Натела вышла. Мы сидели, притихшие и удивленные.

Никто не ждал такого финала.

— Учительница! — встал я.

— Чего тебе, Нанадзе?

Я сам не знал — чего мне хотелось в ту минуту. Но я чувствовал, что если сейчас не выскажу всего, что накипело в душе, — задохнусь. И я начал скороговоркой:

— Что же это вы, учительница... Что же это вы с утра отравляете нам настроение!.. Читаете нам про голод, несчастье, смерть, про отрубленную голову, про горе и слезы!.. Мало нам своих забот? Прочли бы этот рассказ сытым, довольным судьбой детям — пусть пожалеют бедняка Мунджадзе... А нам хватит и своего горя — войны, холода и голода!.. Да!.. И потом, если хотите знать, Нателу Нижарадзе вы выгнали совершенно напрасно! Вот так!

Я сел, еле переводя дыхание. И тотчас же встала учительница.

— Ты кончил, Нанадзе?

— Да, учительница!

— Все сказал?

— Да, учительница!

— Значит, Ниношвили тебе не нравится?

— Нет, не нравится!

— А кто тут ревел минуту тому назад? Не ты ли, Нанадзе? Или мне показалось?

— Потому он и не нравится, что заставил меня ревать!

— Собери свои книги, Нанадзе!

Я ждал этого, и книги мои уже были собраны.

— Закрой за собой дверь и догони Нижарадзе, она не могла уйти далеко!

Я вышел во двор. И вдруг мною овладело такое чувство, словно все это время я сидел в раскаленной пекарне, а потом кто-то вытащил меня оттуда и ткнул головой в снег.

Натела шла опустив голову, не спеша. Я окликнул ее. Она оглянулась, остановилась.

— Выгнала меня! — сказал я с улыбкой.

— Слушай, Нодар, чего вы взбесились? Что я такого сказала? — спросила Натела грустно.

— Ну, знаешь... Задавать такие вопросы про писателя нельзя...

— Почему?

— Так. Нельзя!

— А если в рассказе получается неправдоподобно?

— Ну, может, про сон и вправду получилось не того...

Но в общем-то все правдоподобно.

Натела пожала плечами.

— А тебя-то зачем она выгнала?

— А я сказал, что нечего читать нам рассказы про чужую нужду, когда у нас и своей достаточно! — Я гордо взглянул на Нателу. — Разве я не прав?

— Не прав, конечно! Наоборот, после этого расска-

за у меня как-то стало легче на душе — значит, были люди, которым жилось хуже нашего!

Ответ был настолько неожиданным, что я от удивления раскрыл рот...

Семь верст молча прошагали мы по снегу. Она не спрашивала — куда и зачем я иду, я не говорил — провожаю, мол, тебя. В этом не было ничего необычного ни для нас, ни для встречавших нас соседей. Про нас знало все село. Про то, что наша дружба — чистая и нежная — начало большой жизни, и больше ничего. Настал было однажды час, когда зловещая тень чуть не затмила свет двух пылающих сердец. Но тогда сам господь встал в нашу защиту.

Была осень — теплая, солнечная, ядреная.

Я и Натела лежали навзничь в скошенной траве у берега Губазоули. Я читал ей стихи. И вдруг к нам пришло странное умиротворение. Сияющий солнечный венец озарил нас своим светом. Мы слышали дыхание друг друга и биение собственных сердец. И мир наш стал подобен чудесной сказке, наши веки сомкнулись, и дивный сон унес нас на своих легких крыльях...

...Я раскрыл глаза и увидел над головой хмурое лицо колхозного сторожа Михако Аробелидзе.

— Что, парень, сгубил сироту? — спросил Михако, и голос у него дрогнул.

— Вы о чем, дядя Михако?

— Что здесь происходит?

— Спали мы, дядя Михако!

— И больше ничего?

— А что больше?

- Гм, так я и поверил!
- Клянусь мамой, дядя Михако!
- Поклянись своей совестью!
- Клянусь совестью!
- Значит, не будить ее?
- Не надо, дядя Михако!

Михако с минуту глядел на спящую Нателу, и лицо у него просветлело.

— Ангел, да и только, сукина дочь! — сказал он тихо.

— Точно, ангел! — сказал я.

Михако погладил меня по голове, улыбнулся и ушел.

У старой мельницы Натела вдруг остановилась и к чему-то прислушалась. Потом сорвалась с места и помчалась к деревне. Я еле поспевал за ней.

У развалин церкви царицы Тамар она вновь остановилась.

— Кукури... — прошептала она и, словно подкошенная, упала на землю.

Из деревни доносились душераздирающие вопли и причитания. Натела не плакала, не кричала. Она сидела с окаменевшим лицом и не двигалась. Я побежал в деревню, привел соседей. Не сумев расшевелить девочку, они подхватили ее на руки и понесли домой. Мать Нателы — с окровавленным, ободраным лицом — тупо взглянула на полуживую дочь.

— Пригляди за дочкой, не то умрет, чего доброго! — сказали соседи.

— Пусть умирает... Пусть сгинет солнце и обрушится небо... Нет моего Кукури...

Месяц Натела пролежала в постели. Потом отошла, встала, но в школу так и не вернулась.

С тех пор я один сидел за нашей партией.

— Пойдем, пожалуй, Нодар! Рыба протухнет! — Митуша взял меня за руку, встряхнул.

Я еще раз взглянул на стенд и зашагал за Митушей.

Да, не думал я, что воспоминания детства окажутся столь грустными...

Утром ко мне в комнату вошла двоюродная сестра.

— Там тебя спрашивает женщина.

— Пусть войдет.

— Я просила, не идет.

Пришлось спуститься во двор. У калитки стояла милостивая женщина лет сорока пяти с кошелкой в руках.

— Здравствуйте, уважаемый Нодар! — поздоровалась она.

— Здравствуйте! — ответил я и добавил ради приличия: — Пожалуйте в дом.

«Ну, вот, — подумал я, — гостинец принесла, значит, теперь начнется: сына куда-то пристроить, кому-то позвонить, чего-то достать...»

— Нет, я на минуту к вам...

— Чем могу служить?

— Вы меня не узнали, уважаемый Нодар... — грустно улыбнулась женщина.

— Признаться, не узнал...

— Не думала я, что не узнаете...

— По-моему, мы не знакомы...

— Я — Натела, сестра Кукури Нижарадзе...

— Натела! — У меня разом ослабли колени, руки, голос. — Натела, — повторил я и опустился на бревно, — Натела, ты...

Она села рядом со мной и извлекла из кошелки банку.

— Вот. Это — майский мед... Из собственных ульев... Чистый, как янтарь...

— Спасибо...

— Слышала я, с сердцем у вас было неважно? Мед — лучшее лекарство... Про Кукури, говорят, спрашивали? Про его лошадь?.. Надолго к нам?.. Вы одни или... — Она говорила отрывисто, не поднимая головы, и голос у нее дрожал.

— Натела... Как ты живешь? — прервал я ее.

Натела вздохнула и пристально посмотрела на меня.

— Как видите, уважаемый Нодар... старею... А вы? Как у вас теперь со здоровьем?

— Я — ничего, Натела. Ты расскажи про себя. Как ты, как... — Я запнулся.

— Да так, как полагается деревенской бабе...

— Ну, а все же?

— Собираю чай, дою коров, ухаживаю за детьми, мужем...

— Ты вышла замуж?

— Я вышла замуж поздно, уважаемый Нодар... Теперь у меня четверо детей. Учатся они...

— А...

— Хороший человек, честный, трудолюбивый...

— Натела, зайдем же в дом!

— Нет, не стану вас больше беспокоить... — Она смущенно заерзала.

— Натела, вижу, что-то тебя беспокоит. Говори!

— Да. Вот принесла вам... Вы только не подумайте иначе... Вы теперь человек известный... И вам это больше пригодится...

Она протянула мне пожелтевший тетрадный листок.

— Что это, Натела?

— Это... Это — стихи... Ваши стихи...

Я быстро схватил листок и... обомлел.

Ципнагварская Натела!
 Меркнет свет с тобою в споре!
 Ты — моя циннатела*,
 Ты — и радость, ты — и горе!...

Утонув в мечтаньях дерзких,
 Губ твоих я чую сладость,
 Как мне мил твой окрик резкий,
 Ты — и горе, ты — и радость!

И я вспомнил — вспомнил живо, словно это было вчера, — как я, заимствуя без зазрения совести стихи у Галактиона**, питал ими ненасытную нашу любовь...

— У меня есть и другие ваши стихи, но эти — лучше всех...

— И ты никому их не показывала?

— Что вы! — удивилась она. — Как это можно показывать другим написанные о тебе стихи!

— А детям?

— Ни детям и ни одной живой душе на свете!

К моим глазам подступили слезы.

* Ц и н н а т е л а (груз.) — светлячок.

**Г а л а к т и о н — народный поэт Грузии Галактион Табидзе (1892—1959 гг.).

— Натела, ты чудная женщина! Прости, что не узнал тебя... Теперь-то... Но теперь поздно, Натела!.. Прости меня...

— Вы ни в чем не виноваты...

— Натела!

— Да?

— Я вспомнил все, Натела! Вспомнил Кукури, его лошадь. Вспомнил тот день, когда вы продавали корову и так и не продали. А помнишь рассказ про Кацию Мунджадзе и его сон? Впрочем, как ты могла забыть, ведь в тот день мы узнали про гибель Кукури... А помнишь, тогда, в скошенной траве... Я читал тебе стихи, а потом мы заснули... Помнишь?

Натела встала. Из глаз ее градом струились слезы.

— Нодар, все это спит во мне... И не буди, прошу тебя!..

Я взял ее натруженную, огрубевшую руку и прильнул к ней долгим поцелуем. Она осторожно высвободила руку, обняла меня, поцеловала в грудь, там, где сердце, повернулась и ушла...

— Прости меня, Натела!—сказал я. Она не ответила.

Долго еще стоял я у калитки, надеясь, что Натела обернется хоть раз. Но она не обернулась.

Она ушла и унесла с собой мое безрадостное детство...

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛЫЕ ФЛАГИ. Перевод З. АХВЛЕДИАНИ



РАССКАЗЫ

<u>Переводы З. АХВЛЕДИАНИ</u>	
ДИДРО	225
СОБАКА	242
КОРРИДА	264
НЕБЛАГОДАРНЫЙ	274
СОЛНЦЕ	295
ЖЕЛАНИЕ	313
НЕ БУДИ!	323

ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

Том III

Редактор М. Бирюкова. Художник Н. Малазоня. Художественный редактор А. Сарчимелидзе. Технический редактор А. Якимова. Корректор Л. Шахназарова.

Сдано в набор 5.V 1975 г. Подписано в печать 3.XII 1975 г. Бумага 70×108¹/₃₂. Учетно-издат. л. 13,69. Печатных л. 10,75. Условно-печатн. л. 15,48. Заказ № 82. Тираж 50 000 Цена 63 коп.

Издательство «Мерани». Тбилиси, пр. Руставели, 42. Типография издательства «Таврида» Крымского ОК КП Украины. Симферополь, пр. Кирова, 32/1.

ნოდარ ვლადიმერის ძე დუმბაძე. რჩიული სამ ლექსად
ტომი III (რუსულ ენაზე).

R 270.843
2
347135720
20620701933